

p-3
4-56

Чехов, А.П.

Собрание
сочинений

т. 9

2289

44
~~118~~
~~148~~
~~108~~
~~38~~
212 149
173 162 170 88
~~172~~
66 172 175 229
166 43

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugraic.ru/>

А. П. ЧЕХОВ-ДРАМАТУРГ

1

Первая пьеса Чехова — «Иванов» — была поставлена в 1887 г., последняя — «Вишневый сад» — сыграна в 1904. Целая эпоха легла между этими двумя датами. «Иванов» был представлен в театре Корша по всем правилам, которые господствовали тогда на русской сцене. Пьеса шла в подобранных из других постановок стареньких декорациях, актеры ролей не знали, а Киселевский, игравший графа Шабельского, напился пьян и в первом акте не сказал буквально ни одного слова из того, что было у автора. Он говорил своими словами. Автор сидел в маленькой боковой ложе, подле самой сцены, и мучился. В его письмах, рассказывающих о подробностях этого спектакля, то и дело срываются негодующие выражения.

На следующий день Чехов читал в московских газетах, что он написал произведение, представляющее собой «не более, не менее как недоношенный плод противозаконного сожителства авторской невменяемости и самого тупого расчета» («Русский курьер», 1897 г., № 325). А Кичеев в «Московском листке» уверял, что Чехов преподнес «нагло-циническую путаницу понятий» и «дребедень».

В 1896 г. Чехов присутствовал на провале своей «Чайки» в бывшем Александринском театре тогдашнего Петербурга. Пьеса была освистана публикой и обругана критикой.

«Новые формы нужны, новые формы!» — тщетно взывал устами «декадента» Треплева сам Чехов. Театр еще был далек от этих «новых форм» и даже при самом благожелательном отношении к автору все равно ничего бы не мог поделать: русский театр жил, повинуюсь традициям эпохи.

Затем явился Художественный театр, и «новые формы» были им утверждены. Для своего времени то, что сделал МХТ в отношении созданий чеховского «настроения», было несомненно действием театрально-революционным.

«Близость между Художественным театром и Чеховым была глубже, чем это известно большой публике. Родственные художественные идеи и влияние Чехова на театр были так сильны, что кажутся несоизмеримыми с тем коротким сроком, в который они

продолжались. Ведь это было всего на протяжении пяти с небольшим лет. На пять лет, силою судеб, дружественно и тесно сблизилась их жизни для того, чтобы создать в искусстве движение, которое не может остаться забытым в истории русского сценического творчества»¹.

Так говорил в день пятидесятилетия со дня рождения Чехова — 17 января 1910 г. — Вл. И. Немирович-Данченко.

К. С. Станиславский назвал Художественный театр — театром, основанным «на заветах Щепкина и новаторстве Чехова».

«Новаторство» Чехова заставило театр отказаться от приемов грубого натурализма, под знаком которого шли искания МХТ его первых сезонов. Сценический натурализм оказался примитивным для Чехова, потребовавшего новых методов для его сценического воспроизведения. В Чехове нужно было через колымажку ея занавески показывать лирику чувств, сквозь треск верещащих сверчков заставить услышать человеческую музыку. Ставя Чехова, Художественный театр учился отходить от психологической шелухи и отыскивать зерна больших человеческих чувств. Так должна была из-под хлама музейного натурализма забить живая струя реализма в его психологической оболочке. Это направление в свою очередь освободило русский театр от закорючлых наслоений сценической рутины и литературных клише, вернуло сцене живую психологию и простую речь, научило рассматривать жизнь не только через ее вздымающиеся вершины и падающие бездны, но и через окружающую обыденщину. Сценический реализм утверждал театральность драматических произведений не во внешней сценичности, отдавшей театр на много лет во власть особого рода мастеров и оттолкнувшей от него живые литературные таланты, а в скрытом, внутреннем, психологическом движении. Так чеховская драматургия, очищая театр от литературных клише, возвращала театру настоящую литературу, от которой он был уже в течение десятилетий оторван. Эта драматургия не только жанра, но и широкого обобщения, драматургия глубокой жизненности, для сценического своего воплощения потребовала и жизненности постановок. Художественный театр ее верно нащупал. Он понимал, что «жизненность» чеховских пьес может быть выражена и в той скамье, на которой, спиной к зрителям, сидят действующие лица в первом действии «Чайки». Этот прием смелой и новой мизансцены не был тенденциозным

¹ Пьесы Чехова шли на сцене и до появления МХТ. Мы уже знаем, что «Иванов» впервые был поставлен в театре Корша в 1887 г., а затем сыгран — с большим успехом — в Александринском театре 26 января 1889 г.; «Чайка» шла в том же Александринском театре в 1896 г.; «Леший» — 27 декабря 1889 г. в частном московском театре Абрамовой; «Дядя Ваня» в сезон, предшествующий открытию Художественного театра, прошел летом в Павловске и затем был включен в репертуар всей провинции в сезоне 1896/97 г. Хронология чеховских постановок МХТ такова: 17/XII 1898 г. — «Чайка», 26/X 1899 г. — «Дядя Ваня», 31/I 1901 г. — «Три сестры», 17/I 1904 г. — «Вишневый сад», 19/X 1904 г. — «Иванов».

которым строил Чехов свой театр. «Писателя драматического должно судить по законам, им самим над собой признанным», — учил Пушкин.

Но теория чеховской драмы, устанавливаемая целым рядом критиков и исследователей творчества Чехова, крайне туманна.

Яснее всех говорит о пьесах Чехова Лев Толстой: «Это трагедии на пустом месте».

Вспоминают, что Толстой шутливо выговаривал нежно любимому Чехову — «несравненному художнику»: «Это у вас напускное — от Ибсена, а Ибсен сам по себе не много стоит. Автор должен захватывать зрителя, и не вежливо — под руку, а сильно — за шиворот. Автор должен вести зрителя за собой, куда он хочет, и не позволять оглядываться по сторонам. Он должен вести его за своими героями вперед и вперед. А куда я пойду за вашими героями? С дивана до нужника и обратно, потому что им и ходить-то больше некуда. Вы знаете, я терпеть не могу шекспировских пьес, но ваши еще хуже»¹.

Но, быть может, некоторую ясность в эту путаницу сможет внести сам Чехов?

Что же говорит он о своих пьесах?

Об «Иванове»: «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим Ивановым положить предел этим писаньям. Мне казалось, что всеми русскими беллетристами и драматургами чувствовалась потребность рисовать унылого человека и что все они писали инстинктивно, не имея определенных образов и взгляда на дело. По замыслу-то я попал приблизительно в настоящую точку, но исполнение не годится ни к чорту. Надо было подождать» (из письма к А. С. Суворину 1 января 1889 г.).

И еще об «Иванове»: «Сюжет сложен и не глуп. Каждое действие я оканчиваю, как рассказы, все действие веду мирно и тихо, а в конце даю зрителю по морде. Вся моя энергия ушла на немногие действительно сильные и яркие места; мостики же, соединяющие эти места, ничтожны, вялы и шаблонны. Но я все-таки рад, как ни плоха пьеса, но я создал тип, имеющий литературное значение» (из письма к Ал. П. Чехову, октябрь 1887 г.).

Заключительный вывод: «Я хотел соригинальничать: не вывел ни одного злодея, ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), никого не обвинил, никого не оправдал. Удалось ли мне это, — не знаю» (Ал. П. Чехову 24 октября 1887 г.).

¹ Еще о Чехове говорил Л. Н. Толстой так: «Не понимаю пьес Чехова, которого высоко ставлю как беллетриста. Ну, зачем ему понадобилось изображать на сцене, как скучают три барышни? И что он изобразил, кроме скуки? А повесть из этого вышла бы прекрасная и, вероятно, очень удалась бы ему». Фельетон Ю. Д. Беляева «В Ясной Поляне», в «Новом времени», 24 апреля 1903 г. Цитируем по тексту 4-го выпуска сборников Толстовского музея «Толстой и о Толстом».

О «Лешем»: «Комедия-роман» (из письма к А. Н. Плещееву 30 сентября 1889 г.).

О «Чайке»: «Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро), много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (А. С. Суворину 21 октября 1895 г.).

А когда кончил «Чайку», то признался, что «...начал ее forte и кончил pianissimo — вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть» (А. С. Суворину 21 ноября 1895 г.).

О «Трех сестрах»: «Пьеса сложная, как роман», и еще: «Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная» (В. Ф. Комиссаржевской 13 ноября 1900 г.).

Конечно, эти авторские признания, рассеянные в переписке, не казались исчерпывающими комментариями для сценических исполнителей чеховских пьес. От автора ожидали подробных разъяснений. Но Чехов ствечал скупое. О «Дяде Ване»: «Там же все написано». О «Чайке»: «Вы прекрасно играете, но только это не мое лицо, я этого не писал». И когда удивленный К. С. Станиславский спросил, в чем же дело, Чехов ответил: «У Тригорина клетчатые панталоны и дырявые башмаки». О том же Тригорине он открыл В. И. Качалову такие подробности: «А главное, удочки — самодельные, искривленные, он их сам перочинным ножиком делал. Сигара хорошая, может быть, она не очень хорошая, но непременно в серебряной бумажке».

А о Лопахине из «Вишневого сада» он сказал: «Послушайте, он не кричит: у него же желтые башмаки и тут много денег».

Из этих лаконических замечаний можно вывести одно заключение: Чехов придавал огромное значение тем внешним подробностям, которые дают, так сказать, бытовой портрет его персонажей: клетчатые панталоны, дырявые башмаки, самодельные удочки, сигара в серебряной бумажке, желтые башмаки, толстый бумажник. От внешнего к внутреннему — таков его путь как в беллетристике, так и в драматургии. Естественно поэтому, что его заботило, какая будет собачка для Шарлотты в «Вишневом саду». О собачке он писал О. Л. Книппер: «Собачка нужна в 1-м акте лохматая, маленькая, полудохлая, с кислыми глазами, а Шнапс не годится». И еще все о той же собачке: «Шнапс, повторяю, не годится, нужна та облезлая собачонка, которую ты видела, или вроде нее».

Но возникает вопрос: руководствовался ли Чехов какими-нибудь ясно им осознанными законами при построении своих пьес? Вряд ли. Он вообще не чувствовал себя уверенным в области драматургии. «Что касается моей драматургии, то мне, повидимому, суждено не быть драматургом, не везет. Но я не унываю, ибо не перестаю писать рассказы и в этой области чувствую себя, как дома, а когда пишу пьесу, то испытываю беспокойство, будто

кто толкает меня в шею». Это признание, сделанное Чеховым в письме к Суворину в 1895 г., в сущности повторяет более раннее: «для сцены у меня нет любви».

3

Есть вообще что-то двойственное, почти двусмысленное в чувствах Чехова к театру. Повествовательная форма для него — «законная жена», а драматическая — «эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница».

Одному приятелю советует: «Не пишите пьес», другому — «Чем больше напишите пьес, тем лучше».

«Разлюбите сцену, в ней счень мало хорошего», настойчиво рекомендует он Щеглову-Леонтьеву, а в письме к другому лицу говорит: «Пишите пьесы, спасение театра в литературных людях, но не бросайте беллетристики».

Мысли старого профессора из «Скучной истории» о театре выражают, очевидно, суждения самого Чехова: «Сантиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймашь. Не знаю, что будет через 50—100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением».

И в письмах Чехова читаем: «Вы станете спорить со мной и говорить старую фразу: театр — школа, он воспитывает и прочее. Я вам на это скажу то, что вижу: теперешний театр не выше толпы, а наоборот — жизнь толпы выше и умнее театра: значит он не школа, а что-то другое».

Здесь полное совпадение взглядов Чехова с высказываемыми его персонажами.

Театр — это «сыпь, дурная болезнь городов». Сцена — «эшафот, на котором казнят драматургов». В конце концов увлечение театром раскрывается как увлечение любым спортом. Так дословно и сказано в одном чеховском письме: «Вы пишете, что театр влечет к себе потому, что он похож на жизнь... Будто бы? А по-моему театр влечет вас, и меня, и иссушил Щеглова потому, что он — один из видов спорта. Где успех или неуспех, там и спорт, там и азарт» (А. С. Суворину 4 января 1888 г.).

И через год повторяет то же самое: «Театр, повторяю, спорт — и больше ничего!»

Ненависть к современному театру — точнее к современной драматургии — очень хорошо выражалась декадентом Треплевым в «Чайке», который возмущался актерами — этими «великими жрецами искусства», разыгрывающими при «искусственном освещении», «в комнате с тремя стенами» пьесы, где говорится о том, как люди пьют, едят, спят, носят свои пиджаки. Для Треплева это такая же пошлость, как для Мопассана — Эйфелева башня, которая давит своей тяжестью мозг и от которой нужно бежать. Но сам Чехов, который как будто бы весь на стороне молодого

энтузиаста Треплева, говорил: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни, люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбивается их жизнь».

Треплев ищет новых форм и завидует Тригорину, который «выработал себе приемы». Треплев пишет: «Афиша на заборе гласила», «голова, обрамленная черными волосами». Пишет и возмущается этой банальщиной. Вот Тригорину — «тому легко»: «у него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки, чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова».

И так же, как двусмысленны советы Чехова — «пишите побольше пьес» и «не пишите их вовсе» — так же двусмысленно отношение его и к персонажам, выражающим в «Чайке» некоторые суждения по существу драматургической поэтики. Чехов как будто бы подсмеивается над Тригориним, который жалуется на неблагодарность критики, повторяющей, что недурно пишет Тригорин, но Тургенев писал лучше. Так и над могилой — в эпитафии — будет сказано, что жил такой-то писатель, писал «ничего себе», но Тургенев куда лучше. Чехов смеется над этой тригоринской боязнью посмертной критики. Сам Чехов — выше этого. Ему нет дела до «суда глупца». Он сам — «высший суд» своим твореньям. Но в биографических сведениях о прошлом Тригорина — правда подлинных фактов жизни самого Чехова. Тригоринский рассказ о его молодости, когда, как и всякий маленький и непризнанный писатель, чувствовал он себя несчастным и обиженным, — этот тригоринский рассказ — невыдуманная повесть чеховской молодости.

Треплев иронизирует над «выработанными приемами» Тригорина — над описанием лунной ночи, которое «готово» после упоминания о разбитом горлышке бутылки. Но это вовсе не тригоринская фраза. Треплев цитирует... Чехова. В чеховском рассказе «Волк» описание лунной ночи сделано точь-в-точь в тригоринской манере: «...На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени: на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки».

В конце концов Треплев в его исканиях новых форм приходит к заключению, что дело не в старых и не в новых приемах, а в том, что легко и свободно льется из души. Но это и составляет основу чеховской драматической поэтики, ведь Чехов и учил, что «...не надо ни натурализма, ни реализма, не надо подгонять ни под какие рамки. Надо, чтобы жизнь была такая, какая она есть, и люди такие, какие они есть, а не ходульные». Не потому ли рвет в мелкие клочки Треплев свои рукописи, что понимает в последнюю минуту, что в его повестях и рассказах не было живых людей — были те самые «ходули», против которых протестует Чехов?

Раздумывая о композиции пьес своих корреспондентов — брата Александра Павловича, А. С. Суворина, И. Л. Леонтьева и А. С. Грузинского-Лазарева, — Чехов как будто бы нащупывает приемы, которыми он будет руководствоваться сам, создавая свой театр.

жено в его автобиографии: «Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными. Нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле».

Правда художественная — правда условная. Но никакая условность не может позволить нарушить логику действия. «Если вы в первом акте повесили на сцене пистолет, то в последнем он должен выстрелить, иначе не вешайте его». Об этом пистолете, который должен выстрелить, Чехов не раз упоминает в своих письмах.

Все эти правила не составляют тех законов, «самим драматическим писателем над собою признанных», о которых говорит Пушкин. Поэтика чеховской драматургии сложнее. Своеобразие чеховского театра в том, что это, как говорят, — «театр настроения». Но что такое вообще «настроение» и из каких элементов оно складывается?

Если пьесы Чехова создают настроение, то Тургенев, да и не только Тургенев, а Гоголь и Островский в свою очередь разве не дают «настроения», только каждый на свой особенный лад?

В чем же своеобразие именно «чеховского» настроения? В том прежде всего, что существеннейшим элементом для всех чеховских пьес является неизменное для каждого действующего лица наличие в его характеристике того, что в музыке называется лейтмотивом. Примеров можно привести множество. Лейтмотивы «Чайки»: для Нины Заречной — «я чайка», для Сорины — «человек, который хотел», для Треплева — «нужны новые формы, новые формы нужны!», для Тригорина — навязчивая идея о необходимости запоминать и писать («вот плывет облако, похожее на рояль — надо запомнить»).

Все персонажи «Дяди Вани» охарактеризованы их лейтмотивами: «мотив» Астрова — леса, Войницкого до катастрофы в третьем акте — преклонение перед профессором, а затем — страстная к нему ненависть, Серебрякова — формула его наставлений — «надо дело делать».

В «Трех сестрах» основной мотив Ирины, Ольги и Маши — «в Москву, в Москву», Вершинина — мечты о будущей жизни «через двести-триста лет», Чебутыкина — газетные цитаты, Федотика — увлечение фотографией и страсть делать подарки, Наташи — Бобик, Софочка, французские фразы.

В «Вишневом саду» Гаев твердит о «желтом в угол», Елихов — о «22 несчастях», Фирс — о «недотелах», Яша — о Париже, Раневская — о прошлом, Варя — о «благотелии», Шарлотта — о своем детстве, а Трсфимов все зовет: «Вперед, не отставай, друзья».

Манера постройки чеховских пьес хорошо вскрыта Вл. И. Немировичем-Данченко анализом «Трех сестер»: «Ни в одной преды-

душей пьесе Чехов не разворачивал с такой свободой, как в «Трех сестрах», свою новую манеру стройки произведения. Я говорю об этой почти механической связи отдельных диалогов. Повидимому, между ними нет ничего органического. Точнее, действие может обойтись без любого из этих кусков. Говорят о труде, тут же говорят о влиянии квасцов на рождение волос, о новом командире, о его жене и детях, о запое доктора, о том, как пришла на телеграф женщина и не знала, кому она хотела послать телеграмму, а с новой прической Ирина похожа на мальчишку, до лета еще целых пять месяцев, доктор до сих пор не платит за квартиру, пасьянс не выходит потому, что валет оказался наверху, чихартма — жареная баранина с луком, а черемша — суп, и спор о том, что в Москве два университета, а не один и т. д. и т. д. Все действия так переполнены этими как бы ничего не значащими диалогами, никого не задевающими слишком сильно за живое, никого особенно не волнующими, но без всякого сомнения схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент автора и, конечно, глубоко связанными каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой. Вот это настроение, в котором отражается, может быть, даже все миропонимание Чехова, это настроение, с каким он оглядывается на свой личный, пройденный путь жизни, на радостные сны и постоянные крушения иллюзий и все-таки на какую-то непоколебимую веру в лучшее будущее, это настроение, в котором отражается множество воспоминаний, попавших в авторский дневничок, — оно-то и составляет все подводное течение всей пьесы, которые заменят устаревшее действие».

Стоило привести целиком эту длинную цитату: в ней глубоко вскрыто то самое существенное чеховской драматургии, что названо Вл. И. Немировичем-Данченко «подводным течением», заменяющим «устаревшее действие».

«Устаревшее действие»! Но именно это и говорит о том, что драматургическая манера Чехова повторяла приемы беллетристики. Сам Чехов это чувствует, говоря, что «Три сестры» — пьеса сложная, как роман, из «Чайки» вышла повесть, из «Лешего» — «к о м е д и я - р о м а н». И что особенно выразительно, — это то, что Чехов, рассказывая в письме к Суворину о «Чайке», перечисляет наряду с девятью ролями — п е й з а ж, а указывая, что в пьесе много разговоров о литературе, добавляет: «м а л о д е й с т в и я». Введение пейзажа в пьесу — прием, впервые осуществленный Чеховым, прием, которым он охотно пользуется, неслучайно из всего цикла своих больших пьес только «Три сестры» выводя из круга усадебных пьес. И так естественно, что именно в у с а д е б н о й пьесе пейзаж играет чрезвычайно важное значение: озеро в «Чайке», сад в «Дяде Ване», заброшенная часовенка и бесконечно убегающая даль полей в «Вишневом саде», поэтический балкон старинного барского дома «Иванова»...

Все приемы маленьких рассказов Антоши Чехонте обнажены и заострены в его водевилях. Гротеск, шарж и игра, с явно сочиненными смешными фамилиями, — все это отчетливо проступает и в «Свадьбе», и в «Юбилее», и, конечно, в «Предложении». Ведь в «Предложении» самая установка построена на гротесковом обострении почти патологической страсти к спору.

И если в чеховских рассказах фигурируют: чиновник Брюзденко, Жилин, Милкин, Пробкин, Мердяев, музыкант Смычков, парикмахер Гребешков, первый любовник Поджаров, французы Шампуньи Паденкуа, дьячки Отлукавин и Вонмигласов, то в водевилях действуют Жигалов, Апломбов, Ревунов-Караулов, телеграфист Ять, акушерка Змеюкина, кондитер греческого происхождения Харалампий Спридонович Дымба, матрос Мозговой, директор банка Шипучин, бухгалтер Хирин, надоевшая просительница Мерчуткина, а человек, читающий лекцию о вреде табака, называется Нюхин. В записной книжке значится какой-то Капитон Иванович Чирий, который должен был стать героем водевиля. Здесь же фигурирует Варвара Недотекина — вероятно, родоначальница той самой «недотепы», которая из «Вишневого сада» перешла в бытовой язык.

6

Приемы, которыми так широко пользовался Чехов для водевиля, не случайны в эволюции его драматургической поэтики. Если уже первые юношеские опыты включали мелодраму (неизвестная нам «Безотцовщина» и опубликованная лишь в 1914 г. «На большой дороге») наряду с водевилем («О чем курица села» и та комедия, которая была дана на отзыв московскому драматургу Соловьеву), то и вся последующая работа Чехова над выработкой новой драматической формы шла, как мы убедились, в том же сочетании глубокого драматизма с яркой комедийно-юмористической тональностью. Даже в «Татьяне Репиной», написанной как бы шутки ради и якобы в подражание одноименной суворинской драме, — даже в «Татьяне Репиной», Чеховым вовсе не предназначавшейся для сценической постановки, оказалось, как это убедительно доказал А. С. Долинин¹, именно это сочетание двух планов, двух жанров — мелодрамы с гротесковой комедией.

«Татьяна Репина» была написана Чеховым (и в двух экземплярах издана А. С. Сувориным) в 1889 г. Через четырнадцать лет эта своеобразная амальгама, явно нарушающая общепризнанные каноны, явственно проступила в последней чеховской пьесе «Вишневый сад» — пьесе, занимающей совершенно особое место в истории драматургического творчества Чехова.

¹ См. статью А. С. Долинина «Пародия ли «Татьяна Репина», в сборнике «А. П. Чехов», изд. «Атеней», Л., 1925 г.

Мы знаем, что апологетом Чехова, настойчиво проводившим в репертуар возникавшего в 1897/98 г. Художественного театра «Чайку», а затем «Дядю Ваню», был Вл. И. Немирович-Данченко, которому удалось разбить лед предубеждения К. С. Станиславского, не понимавшего тогда, «как это можно играть».

Чехов был поставлен и сыгран так, как понимал его Вл. И. Немирович-Данченко. Понимание это вполне совпадало с теми тенденциями театра, который, получив свой «социальный заказ» от передовой буржуазии и ее интеллигенции, стремился настолько правдиво, жизненно и верно передать веяния эпохи, чтобы они, запечатленные в поэтических созданиях Чехова, выражали те же чувства, какими жила и публика тогдашнего «Художественно-общедоступного театра».

«Вишневый сад» — последняя пьеса Чехова, так же как и «Чайка», первая чеховская постановка Художественного театра, была высоко оценена Немировичем-Данченко. Он считал ее «самым утонченным произведением Чехова. Самым ароматным». Ему казалось, что на «Вишневом саде» сказалось то «заражение русских художников западно-европейским символизмом», под обаянием которого находился Чехов. Чехов «чувствовал, что это новое движение в поэзии должно очистить натурализм от сора, не ослабляя ни на одну подробность, ни на одну мелочь общее реальное течение русской литературы».

«Вишневый сад» был понят и сыгран как лирическая драма. С момента его премьеры — 17 января 1904 г. — установился традиционный подход к пьесе как к пьесе лирической, насыщенной ароматом элегических настроений, нежной грустью об умирающих вишневых садах и бодрыми голосами молодости, врывающимися в мелодию пастушьей свирели своими страстными призывами к новой жизни.

Странно только, что никто из ставивших «Вишневый сад» не обратил внимания на ряд замечаний Чехова, вырвавшихся у него в письмах по поводу только что законченной им пьесы. А между тем он совершенно определенно писал, например М. П. Лилиной, что «вышла у него не драма, а комедия, местами даже фарс».

Теперь, когда в нашем распоряжении такой высокоценный материал, как письма Чехова к его жене¹, мы можем поставить вопрос о пересмотре традиционного понимания «Вишневого сада». Творческая история «Вишневого сада» убеждает в том, что текст пьесы в том виде, в каком он дошел до театра, явственно распадается как бы на два слоя и носит на себе следы неоднократных авторских переработок, внесших некую двупланность — внутреннюю и внешнюю противоречивость в первоначальный единый и стройный замысел.

После «Трех сестер» Чехов полон мыслями о новой смешной пьесе.

¹ Вышли в берлинском издательстве «Слово».

«Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу» (из письма к О. Л. Книппер 7 марта 1901 г.). И еще: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. Я напишу, если ничто не помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 г.» (22 апреля 1901 г.). Эти мечты упорны: через несколько месяцев — 18 декабря 1901 г. — мы опять читаем в письме к жене: «Я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы чорт ходил коромыслом».

И этим еще неясным планам о пьесе водевильного жанра дается в следующем году некоторое конкретное содержание. Занятый редактированием своего собрания сочинений для издания Маркса, Чехов, не ограничиваясь мелкими поправками в старых рассказах поры Антоши Чехонте, эпохи «Будильника» и «Осколков», многое переделывал заново. Так подвергся основательной переработке водевиль «О вреде табака». В письме 30 сентября 1902 г. Чехов говорит: «Сегодня я переделывал один свой старый водевиль «О вреде табака». Видимо, О. Л. Книппер в ответ на это сообщение предложила А. П. Чехову дать переделанный водевиль Художественному театру. Чехов отвечает 8 октября 1902 г.: «Давать водевиль в Художественный театр? Водевиль с одним действующим лицом, который только говорит, но не действует вовсе! Для театра я пьесу напишу. Это будет лучше».

Но эта пьеса попрежнему мыслится водевильного жанра: «Хотелось бы водевиль написать, да все никак не соберусь» (12 декабря 1902 г.). И опять — в другом письме: «Мне ужасно хочется написать водевиль, да все некогда, никак не засяду... У меня какое-то предчувствие, что водевиль скоро опять войдет в моду».

Для творческой истории «Вишневого сада» эти чеховские предчувствия о водевиле, который «войдет в моду», эти постоянные его сборы написать еще один водевиль не должны пройти неотмеченными. Затерянные в юмористических журналах 80-х гг. и самим Чеховым основательно забытые юношеские рассказы, попав под его редакторский карандаш, оказали свое несомненное воздействие, вернув в репертуар, утонченное мастерство Чехова к яркому и сочному гротеску. Это сказалось и на новой редакции старого водевиля «О вреде табака», это скажется и на новой, начатой в ту пору пьесе. Нужно только помнить, что самая форма, в которую выльются водевильные очертания «О вреде табака», и комедийные контуры «Вишневого сада», в их гротескной тональности, раскрыты в неожиданном сочетании лирико-драматических элементов с элементами гротескно-комедийными.

По письмам Чехова к О. Л. Книппер мы легко можем проследить этап за этапом творческую работу над «Вишневым садом». «Смешная пьеса», где должен был «чорт ходить коромыслом», была задумана в «трех длинных актах».

Вопросы конструкции сильно занимают Чехова. Он отрезывает к наибольшей экономии и в количестве актов и в количестве действующих лиц.

Кропотливо, мучительно — «по две строчки в день» — работая над пьесой, Чехов дает очень объективную оценку каждому акту. Четвертый акт «писался легко, как будто складно», и по сравнению с другими актами казался Чехову «скудным по содержанию, но эффектным». Очень ценное признание: ни на какую, следовательно, драматичность, в смысле воссоздания лирического настроения, у Чехова нет и намека в момент работы над первой редакцией пьесы. Еще важнее авторское указание, относящееся к этому акту, — указание, устанавливающее тот темп, в каком должен играть финал «Вишневого сада». «Четвертый акт, должен продолжаться 12 минут максимум».

Еще раз оговоримся, что все эти указания исходят из основной предпосылки Чехова: «Взя пьеса веселая, легкомысленная», и «последний акт будет веселым». По окончании работы над пьесой Чехов приходит к выводу, что «хотя и вышла не драма, а комедия, местами даже фарс», но что в пьесе, в целом, «как она ни скучна», есть «что-то новое».

Новое заключается в «Вишневом саду» в своеобразном сочетании гротескно-комического с лирическим. Надо сказать, что сочетание это кажется все же неорганическим. Невязка между несомненным тяготением Чехова к чисто комедийной, почти водевильной форме и той драматичностью ряда моментов, которая столь явственно ощутима (хотя бы в сцене прощания Гаева с Раневской, несмотря на всю «веселость», как полагал Чехов, этого акта), эта невязка, конечно, чувствуется.

Изучая замысел Чехова, мы можем, как думается, вскрыть невязку между первоначальным замыслом и окончательным его завершением вот каким путем. Несомненно, что «Вишневый сад» писался в расчете на совершенно определенных исполнителей. Уже первый список действующих лиц вызывал в Чехове представление о конкретных их сценических изобразителях. Но тут на первых же порах вышла заминка. Раневская была задумана как старуха, а подходящей актрисы для этой «старушечьей» роли в труппе Художественного театра не было. «Кто будет играть старуху мать? Кто?» — постоянно спрашивает в письмах к О. Л. Книппер Чехов. И еще: «Будет ли у вас актриса для роли пожилой дамы, если нет, то пьесы не будет, не стану и писать ее». А когда все-таки стал писать — неудержимо было влечение к осуществлению творческого замысла, — то признавался, что делает это «без охоты, главным образом по той причине, что у вас (т. е. в Художественном театре) нет старухи».

И когда законченная в первой редакции пьеса переписывалась набело, видимо заново была сделана и роль Раневской. Во всяком случае в окончательной редакции она уже предназначалась для Книппер.

Думается, что невольные изменения в составе исполнителей, намеченных еще тогда, когда пьеса не получила своей окончательную завершенность, повели в дальнейшем процессе работы над «Вишневым садом» и к некоторой внутренней перелицовке характеров персонажей.

В результате всей этой невязки между желаниями автора и фактическим осуществлением создалось у Чехова далеко не благожелательное отношение к спектаклю. «Актеры играли не ярко и растерянно». «Вчера шла моя пьеса, следовательно, настроение у меня неважное», — признавался он в письмах к Щеглову и Батюшкову после премьеры.

Наконец и в письме к О. Л. Книппер (29 марта 1904 г.) находим общий отзыв Чехова об исполнении «Вишневого сада»: «4-й акт, который должен продолжаться 12 минут максимум, у вас идет 40 минут. Одно могу сказать — стубил мне пьесу Станиславский». И в другом письме гневно восклицает: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал. Я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу внимательно не прочли мою пьесу».

Прошло четверть века после премьеры «Вишневого сада», и мы уже можем говорить спокойно и об ошибках театра и о заблуждениях автора. Дело, конечно, не в том, что Станиславский и Немирович «испортили» или «не прочли внимательно» пьесу. Дело в том, что они действительно увидели в пьесе то, чего не хотел видеть автор. Автор был убежден, что и после перекройки «Вишневого сада» его первоначальный замысел остался очевидным, — замысел пьесы, написанной в тонах легкой комедии, водевиля, местами даже фарса. Но эта резко сначала звучавшая тональность была заслонена иной во второй редакции, когда из-за центральной роли комической старухи, для которой не нашлось в театре исполнительницы, пришлось в корне изменить всю конструкцию пьесы. Чехов чувствовал, конечно, что новый образ Раневской потребует и новых драматических акцентов, но он не желал, однако, отступать от основного задания — создать комедию о беспечных русских людях и драматическую ткань второй редакции пьесы пытался «обезвредить» приемами гротескно-водевильными. В результате пострадала стройность композиции, что не замедлило сказаться на первом же спектакле. Отсюда недовольство Чехова.

Но пьеса живет в репертуаре русского театра двадцать пять лет. Ее исполнение канонизировано в традиционных приемах Художественного театра. То, что при первой встрече театра с пьесой казалось противоречивым, выпячивающим — эта новизна приемов лирико-драматических с привнесением гротескно-комических мотивов, за десятилетия нашло формы, гармоничные и убеждающие. Мы уже не требуем теперь от театра уничтожения двупланности. Наоборот, последнее возобновление «Вишневого сада» в 1928 г. свидетельствовало о том, что театр заново прочел текст

Чехова и там, где следовало, расставил более сильные акценты, в особенности в моментах гротескных. И от этого социальная значимость спектакля только выиграла. Трагедия беспечных людей, раскрытая со всей правдой человеческих переживаний, переключалась в комедию, герои которой саморазоблачались. Они не вызвали ответных слез в зрительном зале. Большие дети — какое, иное к себе отношение, кроме снисходительной улыбки к их слабостям, они могли требовать от нас? Так традиционность Художественного театра переключалась в иное звучание, в котором очень резко проступал гротесковый лейтмотив. Большого театр сделать не мог, иначе ему пришлось бы вовсе отказаться от авторского текста. Ведь в его распоряжении нет, и никогда не будет, черновой редакции «Вишневого сада». Только то, что дано в окончательной отделке пьесы, принадлежит театру, принадлежит со всеми противоречиями, со всей «двупланностью» текста.

«Вишневый сад» оказался последней пьесой Чехова. Смерть застала его в момент исканий, которые должны были закрепить то «новое», к которому он, еще не освободясь от внутренних противоречий, шел в «Вишневом саду»!

Сложна эволюция его драматической формы: в цикле своих больших пьес он остается беллетристом, вводя в драму приемы повествовательные. Но безбурность, аллегоричность и бездейственность явно не удовлетворяют Чехова. Отсюда неожиданное заявление, что «Три сестры» — «веселая комедия» (он был поражен оценкой МХТ, считавшей пьесу тяжелой драмой русской жизни), заявление не оправданное той формой, в которую вылилась пьеса о «трех скучающих барышнях» (М. Толстой). Отсюда и предчувствия нового прилива моды на водевиль и работа над «Вишневым садом» в той его редакции, которая так и не нашла своего завершения...

Юрий Соболев.

МУЖИКИ.

I.

Лакей при московской гостинице «Славянский базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и не даром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогац белая кошка.

— Кис, кис! — поманила ее Саша. — Кис!

— Она у нас не слышит, — сказала девочка. — Оглохла.

— Отчего?

— Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая — не лучше, зато у крайней — железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов пвами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там-и-сям, обнажились громад-

ные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

— Хорошо у вас здесь! — сказала Ольга, крестясь на церковь. — Раздолье, господа!

Как раз в это время ударили ко всенщной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, кто-то вилы тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

— Об эту пору в «Славянском базаре» сбеда... — проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю срыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, — и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сторбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, — двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатах, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, — напрасно!

— А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались.

— У купца в сторожах живет, — ответил отец, — в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шило.

— Не добычик! — проговорила старуха слезливо. — Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьяк идет, — сказал старик, — легок на помине.

Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

— А ты чего, холера? — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. — Небось, не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пщорды.

— Ма-арья! — раздался крик у самой двери.

— Вступитесь Христа-ради, родименькие, — залепетала Марья, дыша так, точно ее спускали в очень холодную воду, — вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел выскки, чернобородый мужик в синней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, — страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

— Экой срам-то, срам, — бормотал старик, ползая на печь, — при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, ссознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

— А, приехали... — проговорил он, выпуская жену. — Родной братец с семейством...

Он помолвился на сбрз, пошатываясь, широко раскрывая свои льняные, красные глаза, и продолжал:

— Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первспрестольный, значит, град Москва, мать городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печь со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

— И-и, касатка, — говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, — слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: еще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

— А в Москве дома большие, каменные, — говорила она, — церковей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах все господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, — обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

— А ну, его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II.

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

— Старик ничего, — рассказывала Марья, — а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире, — ну, она сердчает; много, говорит, едите.

— И-и, касатка! Терпи и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божью мать, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете, — ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

— Ты откуда родом? — спросила Марья.

— Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подожли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

— Это наша Фекла, — узнала Марья, — ва реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная — страсть!

Фекла чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и вастучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

— Озорная — страсть! — повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. Навеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее — и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали Евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это — порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: «Ма-арья!» — и она вздрагивала.

III.

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвейчевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как на села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая

отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвейчевых, служивший тогда капельдинером в саду «Эрмитаж». И теперь, обращаясь к Матвейчевым, Николай говорил наставительно:

— Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком.

— Батюшка ты мой, — проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча, — и ничего про них, голубчика, не слышать.

— Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

— Не добычик ты, Николай Осипыч, не добычик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

— Она у меня и читать может! — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. — Почитай, детка! — сказала она, доставая из угла Евангелие. — Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

— «Отшедшим же им, се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: «востав поими отроча и мать его...»

— Отроча и мать его, — повторила Ольга и вся покраснела от волнения.

— «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ты...»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задом на ее огород,

и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, сбывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на сбиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

— Да, — рассказывал он, взявшись за бока. — Да... После Воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу, я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу — выходит из трактира староста Антип Седельников. «Куда везешь, такой сякой?» — и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

— Водка-то что делает. Ах, ты, боже мой! — бормотал он, встряхивая своею больною головой. — Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пета, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врзъ, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

— Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и несколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире все еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

— Оставь, — убеждал старик, — оставь... Она баба смирная... Грех...

— Ма-арья! — крикнул Кирьяк.

— Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

— Лю-аблю я цветы полевые-и! — запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. — Лю-аблю по лугам собирать! Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV.

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задками, но они теперь были заняты делом: подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли притти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидела старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все — девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

— В церквѣ бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, велененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай угодничек — туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, — добавила она, подражая своей матери. — А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

— С ко-ло-ко-ла-ми? — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

— С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

— Гляди на небо, не мигай, — ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

— Видишь? — спросила Саша.

— Не видать, — проговорила Мотька басом.

— А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками — мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя на землю, и спросила:

— Бабка будет гореть?

— Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкой зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

— Как мне стало смешно! — сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

— Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

— Батюшки мои! — изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. — Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

— Ничего, ничего! — утешала Ольга, бледная, расстроенная, глядя Сашу по голове. — Она — бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имеет никакого полного права ее бить!

— Ну, околеваешь там на печке, ледащий! — крикнула на него Фекла со злобой. — Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети

боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

— Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, господи, — продолжал он с тоской, — хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь, в Успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребницу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж пойдет в ад. Они утешались и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V.

На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

— Пожар! Пожар! — раздался внизу стчаянный крик. — Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, несбыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем, и слышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью;

и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало.

— Дядя Семен горит! — крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повывагали дети в рубашонках. Около избы десятистого забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху, и от этого частого, неутомимого звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, тспоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забыльи, и стонала. Какой-то старик лет всьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим — неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

— Бабы, воды! — кричал он. — Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

— Девки, воды! — кричал староста, тоже пьяный. — Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотыка. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего вода шипела еще резче.

— Молодец, Антип! — слышались одобрительные голоса. — Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

— Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сарай, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба на-веселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

— Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал отчего загорелось:

— Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: «пусти, говорит, почевать»... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара, — старичка чаем попить, да не в добрый час заставила самовар в сенях. Огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то вверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведро; рядом и ниже сидели бабы и голосили как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубам лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

— Не давайте ломать! — раздались в толпе строгие голоса. — Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках, — должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

— Жорж! — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. — Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, — это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

— Вы, барин, хорошо тушили, — сказала Ольга студенту. — Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

— А ты разве из Москвы? — спросила одна из барышень.

— Точно так. Мой муж служил в «Славянском базаре»-с. А это моя дочь, — указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. — Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

— Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, — сказал он, обращаясь к студенту, — а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, — добавил он конфузливо, тоном ниже, — зря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

— Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни — как херувимчики.

— Чтоб их рёзорвало! — проговорила сонная Фекла со влобой.

VI.

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои вылиwała у самого крыльца: выплеснет с порога, да еще пройдетя босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! — говорила она с злорадством. — Погляжу-у!

Однажды утром, — это было уже в начале сентября, — Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

— Чай да сахар! — проговорила Фекла насмешливо. — Барыни кякие, — дсбавила она, ставя ведра, — моду ссбе ваяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. — Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая!

Она вамахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что сбе невестки только всплеснули руками и проговорили: — Ах, батюшки...

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немало — копеек двадцать в неделю.

— При господах лучше было, — говорил старик, мотая шелк. — И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щт тебе и каша, в ужин тсже щт и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь дсбровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий ссбя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал, не спеша, про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живетсся так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время сблав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые сбозы с битой птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в Тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказывала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказывала про свою госпожу, дсбрую, богсбязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник, и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая — за мещанина, третью — увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И вспомнив сб этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

— Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький, лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготавлилось из бычьих глаз и называлось «до утру проснувшись».

— А котлеты марешаль тогда делали? — спросил Николай.

— Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

— Ах вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая; казалось, что их было очень много — точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабу, которая рассказывала интересное всех, они слушали не дыша, боясь пошевелинуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какал бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшно холодна эта смерть, которая не за горами, — лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку — и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о смерти; повернулся на другой бок, — о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздоржала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

— О, господи! — вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тут? — окликнула Ольга.

— Я, — слышался ответ. — Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами, и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

— На той стороне озорники раздели, пустили так... — проговорила она. — Домой без одежды шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

— Да ты в избу иди! — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

— Старики бы не увидали.

В самом деле, бабушка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: «Кто там?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

— Это ты, гладкая? — сердито проворчала бабушка, догадавшись, кто это. — У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

— Ничего, ничего, — шептала Ольга, кутая Феклу, — ничего, касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль в спине, бабке — заботы и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же одержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

— О, господи! — вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна, или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки — и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, повидимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

— Нет, воля лучше!

VII.

Приехал барин, — так в деревне называли станowego пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, — ему было только 30 лет с небольшим, — был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он — староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не жила и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употребить их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею озорною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакеннами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

— За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей, — сказал он, когда очередь дошла до Осипа. — Перед святой как дал рубль, так с того времени ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

— Почему же это, братец?

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, — начал Осип, волнуясь, — дозволейте сказать, летошний год Люто-рецкий барин: «Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай». Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на доску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то-и-дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

— Я не понимаю, вачем ты это все говоришь, — сказал пристав. — Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечаю?

— Мочи моей нету!

— Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, — сказал староста. — Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся — водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

— Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

— Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с желеноватым отливом волосы развеивались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

— Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, ватеснили! Ой, ой, голубчики, вступитесь!

— Бабка, бабка, — сказал строго староста: — имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чижильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унижительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки, — не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что сбывал в «Славянском базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темно. Антип Седельников паял что-то около печи, падувая щеки; было утарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше Чижильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

— Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

— Принеси три рубля, тогда и получишь.

— Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

— Отдай!

Смурный староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он сбернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

— От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, он удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

— Земство! — говорил Осип. — Кто ж!

— Известно, земство.

Земство сбзиняли во всем — и в недоимках, и в претеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоянные дво́ры, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 15—20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладях, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн; вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват.

— Земство! — проговорил уныло Осип. — Кто ж!

VIII.

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорова, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к сберне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в великом посту не успевал отговориться, батюшка на святой, сбходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чуде, и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

— А кто ж его знает!

Баба перела, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

— Казанской божьей матери, смоленской божьей матери, троеручицы божьей матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост

есть скромное. В прочих семьях было почти то же: мало, кто верил, мало, кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеяна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

— Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чижильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк — все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землею и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжелой, невыносимой нужды, от страшной водки.

— Заступница, матушка! — рыдала Марья. — Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять слышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всяких случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старик и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота — вернут со службы домой. А Марья не только

не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с превеликим страхом. Довольно было пустяка — расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, — с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополного выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик-портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него, в самом деле, как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

— Оно хорошо, — говорил портной. — Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он укутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX.

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на Благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил, наконец, — и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было занято громадным заливом, на котором там-и-сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, рыцли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее помоглолось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, и немного поседела, и уже вместо прежней милости и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду, и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подсыревают друг друга. Кто держит кабак и спивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджог, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и

других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам бьют все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и не откуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик сблизится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты», и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые населяют в деревню только затем, чтобы оскорбить, сблизить, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

— Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная-несчастливая...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, схватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Итти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдаль хуторок, весь в зелени, потягивает от него влара и консплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергая кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой...

— Православные христиане, — запела Саша, — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ.

На самом краю села Мирносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иванович, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не естествоиспытатель и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, не далеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши и, когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и, когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые

он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, отклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто-футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, — ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, — и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, — знаете, маленьком лице, как у хоряка, — он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит атак, молча, час-другой, и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнад-

дать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полумного, который когда-то служил в депо и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

— Много уж их нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах, — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. — Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Кобаленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, — одним словом,

не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и валется головистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченься, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Вьют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, — всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древне-греческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить, — тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать... — пояснила свою мысль директорша. — Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только ни делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну, вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым. Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, в вышитых штанах, ражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко. — Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь, за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была не дурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, — голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, — проговорил Иван Иванович.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится, — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, — и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему. — Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю.

И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный обрыв мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно и характер очень бойкий. Женишься, а потом чего доброго попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Scandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, воаненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю, — говорил он нам, пожимая плечами, — не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, пожизну с вами еще немного и уеду к себе на хутор и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай аборж паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «аборж паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники, — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, — это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, — выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня.

— Позвольте, что же это такое? — спросил он. — Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я. — И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. — Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулcя домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу, — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке, — напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а это забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же собственно вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как вы манкируете! Вы ходите в пыштой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и поблгровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Докладить? Ступай, декладирай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была выская, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли выгау и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, себе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не

слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с бариним что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то-есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон, была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, вслапнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иванович и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по-пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верет на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с уми-

лением, и что зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иванович. — А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в вилт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот, если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать, — сказал Буркин. — До завтра!

Сба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и вадремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит, — сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут, — проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок, — и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иванович, — сказал учитель. — Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иванович все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898.

КРЫЖОВНИК.

Еще с раннего утра все небо сбложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мирношицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и сба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые пвы, усадьбы и, если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты

любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, сблочной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумьи; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою кунальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неудобно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к городским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела вейлка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаша с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и, повидимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот

ных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иванович молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

1898.

О ЛЮБВИ.

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и, казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

— Как зарождается любовь, — сказал Алехин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, — поскольку в любви важны вопросы личного счастья — все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, — это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

— Совершенно верно, — согласился Буркин.

— Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и при-

том выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, малая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, и чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это, я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

— Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в унiversитете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то-есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. И не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к пловцам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в сани, или где-нибудь в лесной сторожке, — какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботишках, с цепью на груди — это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтоб переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анисой Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что собственно в ней было такого несбыточного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комодке у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрий, как же это так?

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ем и пью, по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полу-

слов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьино безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо и в дождливую погоду я дурно сплю.

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили сюда, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком, или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна

возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружился они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен, или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и, если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор, или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

— Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что, точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я все старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг

другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины, или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же, или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или, просто, если бы мы разлюбили друг друга?

И она, повидимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать, или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо. Дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые, и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз простились и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не

хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

— Я так и знала, что вы забудете.

К счастью, или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора проститься не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми, и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их кодычем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном гмении, как белка в колесе, а не занимался наукой, или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной;

и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

1898.

ИОНЫЧ.

I.

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он, или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в рпсе-пез, писала повести и романы, и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напева...

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах, ты, цыпка, баловница... — нежно пресбормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кетати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que l'on nous donne du thé.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходящее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотека и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать.

— Не дурственно... — тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не выбьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Далиже, среди больших и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала, молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О, нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, соглашались, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, не дурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а, напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Не дурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II.

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла, наконец, очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал, и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто. Он, в самом деле, немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигреней.

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то несбыкновенно милое, трогательное своей простой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться, или убегала в дом. Она, как почти все с—ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначить свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг вял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместьи, около боен, были собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он, — Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она ольянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онъ же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская спера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, сбывтия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, егсрали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности не хорошо шутит над человеком мать-природа, как сбидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону. И, сядя с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III.

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и сбвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, не мало», — думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну, что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец, вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это не великодушно и не милосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба, и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил, наконец, Старцев, — будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... — она встала и продолжала, стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о, нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у нее слезы навернулись на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он, прежде всего, сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валялось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил попрежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу, или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV.

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами,

взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится втупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что современем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было не интересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отсвзил в «Общество взаимного кредита» и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнили! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Не дурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, повидимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдёмте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь, — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любите говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Общайтесь мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

«Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V.

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным «Пррррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в «Обществе взаимного кредита» говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялижке и в городе его зовут уже просто Ионычем. — «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло залыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой б-пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой б-пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходить речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, несколько не изменился и попрежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы попрежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

1898.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ.

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, повидимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадах версты четыре. За Королевым послали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!» — «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами

шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собрались отдыхать и поле, и лес, и солнце, — отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали, или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дразнилки, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор, — говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шопот. — Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в рпсе-пез, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спало; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая, — рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. — Доктора говорят — нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так гот, думаю, может от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, не причесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригнали здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам, — начал Корольев, — пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку, большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение, — сказала она. — Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Корольев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце, как следует, — сказал он, — все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Корольев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб сбучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десятков учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты спишь... ты опять, — говорила она, прижимая к себе дочь. — Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Корольев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, сто́ит ли плакать? — сказал он ласково. — Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал:

«Замуж бы ее пора»...

— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати, — сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже. Помоему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано страдание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного, — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. — Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надеван перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса, — сказал он, — надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам. — Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога, — продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь, — переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перебирывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно. На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом не породистом теле, на груди медаль и знак Красного креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шопот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора слышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отзывались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить»... — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйста закусить! — поввала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через *pinse-nez*:

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные, и когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Несбразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, — сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии, — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. Пожалуйста кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы и на трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно, в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и

все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в рпсе-пез. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...» Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...» Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге»... — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается, — это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье

или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыкновенная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем, восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять слышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак... — раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, — жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло все кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, укутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были спущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите, — сказал он. — На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось — «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки? — спросил он.

— Не знаю. Меня тут все беспокоит, — ответила она и задумалась. — Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат, — продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво, — я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама, и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев. — Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немислим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы они, или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?... Да куда угодно, — сказал Королев и засмеялся. —

Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако, — сказал он. — Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами, — продолжал он, пожимая ей руку. — Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное, — только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

1898.

НОВАЯ ДАЧА.

I.

В трех верстах от деревни Обручановой строился громадный мост. Из деревни, стоявшей высоко на крутом берегу, был его решетчатый остов, и в туманную погоду и в тихие зимы, когда его тонкие железные стропила и все леса кругом покрыты инеем, он представлял живописную и даже фантастическую картину.

картину. Через деревню проезжал иногда на беговых дрожках или в коляске инженер Кучеров, строитель моста, полный, плечистый, бородатый мужчина в мягкой, помятой фуражке; иногда в праздники приходили босяки, работавшие на мосту; они просили милостыню, смеялись над бабами и, случалось, уносили что-нибудь. Но это бывало редко; обыкновенно же дни проходили тихо и спокойно, как будто постройки не было вовсе, и только по вечерам, когда около моста светились кресты, ветер слабо доносил песни босяков. И днем иногда слышался печальный металлический звук: дон... дон... дон...

Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. Ей понравились берега реки и роскошный вид на зеленую долину с деревушками, церквями, стадами, и она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили двадцать десятин земли, и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг, — построили в какие-нибудь три месяца и потом всю зиму сажали большие деревья, и когда наступила весна и все зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое рабочих в белых фартуках копались около дома, бил фонтанчик и зеркальный шар горел так ярко, что больно было смотреть. И уже было название у этой усадьбы: Новая дача.

В ясное, теплое утро, в конце мая, в Обручаново к здешнему кузнецу Родиону Петрову привели перековывать двух лошадей. Это из Новой дачи. Лошади были белые, как снег, стройные, сытые и поразительно похожие одна на другую.

— Чистые лебеди! — проговорил Родион, глядя на них с благоговением.

Его жена Степанида, дети и внуки вышли на улицу, чтобы посмотреть. Мало-помалу собралась толпа. Подошли Лычковы, отец и сын, оба безбродые с рождения, с опухшими лицами и без шапок. Подошел и Козов, высокий худой старик с длинной узкой бородой, с палкой крючком; он все подмигивал своими хитрыми глазами и насмешливо улыбался, как будто знал что-то.

— Только что белые, а что в них? — сказал он. — Поставь моих на овес, такие же будут гладкие. В соху бы их да кнутом...

Кучер только посмотрел на него с презрением, но не сказал слова. И пока потом в кузнице разводили огонь, кучер рассказывал, покуривая папиросы. Мужики узнали от него много подробностей: господа у него богатые; барыня Елена Ивановна ранняя вдова, жила в Москве бедно, в гувернантках; она добрая и любит помогать бедным. В новом имении, сказал он, не будут ни пахать, ни сеять, а будут только довольствоваться, жить только для того, чтобы дышать воздухом. Когда он кончил и повел лошадей назад, за

ним шла толпа мальчишек, лаяли собаки, и Козов, глядя вслед, насмешливо подмигивал.

— То-оже помещики! — говорил он. — Дом построили, лошадей завели, а самим, небось, есть нечего. То-оже помещики!

Козов как-то сразу возненавидел и новую усадьбу, и белых лошадей, и сытого красивого кучера. Это был человек одинокий, вдовец; жил он скучно (работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами), деньги на пропитание получал от сына, служившего в Харькове в кондитерской, и с раннего утра до вечера праздно бродил по берегу или по деревне, и если видел, например, что мужик везет бревно или удит рыбу, то говорил: «это бревно из сухостоя, трухлявое», или: «в такую погоду не будет клевать». В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди, то говорил, что теперь все погниет в поле, все пропало. И при этом все подмигивал, как будто знал что-то.

В усадьбе по вечерам жгли бенгальские огни и ракеты, и мимо Сбручанова проходила на парусах лодка с красными фонариками. Однажды утром приехала на деревню жена инженера Елена Ивановна с маленькой дочерью в коляске с желтыми колесами, на паре темно-гнедых пони; обе, мать и дочь, были в соломенных шляпах с широкими полями, пригнутыми к ушам.

Это было как раз в навозницу, и кузнец Родион, высокий, тощий старик, без шапки, босой, с вилами через плечо, стоял около своей грязной, безобразной телеги и, оторопев, смотрел на пони, и видно было по его лицу, что он раньше никогда не видел таких маленьких лошадей.

— Кучериха приехала! — слышался кругом шепот. — Гляди, кучериха приехала!

Елена Ивановна посматривала на избы, как бы выбирая, потом остановила лошадей около самой бедной избы, где в окнах было столько детских голов — белокурых, темных, рыжих. Степанида, жена Родиона, полная старуха, выбежала из избы, платок у нее сполз с седой головы, она смотрела на коляску против солнца, и лицо у нее улыбалось и морщилось, точно она была слепая.

— Это твоим детям, — сказала Елена Ивановна и подала ей три рубля.

Степанида вдруг заплакала и поклонилась в землю; Родион тоже повалился, показывая свою широкую, коричневую лысину, и при этом едва не зацепил вилами свою жену за бок. Елена Ивановна сконфузилась и поехала назад.

II.

Лычковы, отец и сын, захватили у себя на лугу двух рабочих лошадей, одного пони и мордатого альгаузского бычка и вместе с рыжим Володькой, сыном кузнеца Родиона, пригнали в де-

ревню. Позвали старосту, набрали понятых и пошли смотреть на потраву.

— Ладно, пускай! — говорил Козов, подмигивая. — Пуска-ай! Пускай теперь повертятся, инженеры-то. Суда нет, думаешь? Ладно! За урядником послать, акт составить!..

— Акт составить! — повторил Володька.

— Этого так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, кричал все громче и громче, и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше. — Моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете полного права сбижать народ! Крепостных теперь нету!

— Крепостных теперь нету! — повторил Володька.

— Жили мы без моста, — проговорил Лычков-отец мрачно, — не просили, зачем нам мост? Не желаем!

— Братцы, православные! Этого так оставить нельзя!

— Ладно, пуска-ай! — подмигивал Козов. — Пускай теперь повертятся! То-оже помещики!

Повернули назад в деревню, и, пока шли, Лычков-сын все время бил себя кулаком по груди и кричал, и Володька тоже кричал, повторяя его слова. А в деревне между тем около породистого бычка и лошадей собралась целая толпа. Бычок был сконфужен и глядел исподлобья, но вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкивая задними ногами; Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Потом скотину заперли и стали ждать.

Вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, не кормленные и не поенные, возвращались домой, понунив головы, как виноватые, точно их вели на казнь.

Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону в село Кряково, где был кабак, и долго там гуляли. Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лычков. В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал.

— Нехорошее дело, — говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая. — Осерчает барин, тягайся потом... Обидели барина... ох, обидели, нехорошо...

Как-то мужики, и Родион в их числе, ходили в свой лес делить покос, и когда возвращались домой, им встретился инженер. Он был в красной кумачовой рубаше и в высоких сапогах; за ним следом, высунув длинный язык, шла легавая собака.

— Здравствуйте, братцы! — сказал он.

Мужики остановились и снимали шапки.

— Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы, — продолжал он. — Дело вот в чем. С самой ранней весны каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими пастухами; их просишь, а они грубят. Каждый

день у меня потрава, и я ничего, я не штрафую вас, не жалуюсь, между тем вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять рублей. Хорошо ли это? Рааве это по-соседски? — продолжал он, и голос у него был такой мягкий, убедительный и взгляд не суровый. — Рааве так поступают порядочные люди? Неделю назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в Ереснево, и теперь мне приходится делать три версты кругу. За что же вы вредите мне на каждом шагу? Что я сделал вам дурного, скажите бога ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою.

Повернулся и ушел. Мужики постояли еще немного, надели шапки и пошли. Родион, который понимал то, что ему говорили, не так, как нужно, а всегда как-то по-своему, вздохнул и сказал:

— Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетою...

До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели, пили и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее любили друг друга. В избѣ у них было тесно, жарко, и везде были дети — на полу, на окнах, на печке... Степанида, несмотря на пожилые годы, еще рожала, и теперь, глядя на кучу детей, трудно было разсказать, где Родионовы и где Володькины. Жена Володьки — Лукерья, молодая, некрасивая баба с глазами на-выкате и с птичьим носом, месила в кадке тесто; сам Володька сидел на печи, свесив ноги.

— По дороге около Никитовой гречи того... инженер с собачкой... — начал Родион, отдохнув, почесывая себе бока и локти. — Платить, говорит, надо... Монетою, говорит... Монетою — не монетою, а уж по гривеннику со двора надо бы. Уж очень обижаем барина. Жалко мне...

— Жили мы без моста, — сказал Володька, ни на кого не глядя, — и не желаем.

— Чего там! Мост каменный.

— Не желаем.

— Тебя и не спросят. Чего ты!

— «Не спросят»... — передразнил Володька. — Нам ездить куда, на что нам мост? Нужно — так и на лодке переплывем.

Кто-то со двора постучал в окно так сильно, что, казалось, задрожала вся изба.

— Володька дома? — слышался голос Лычкова-сына. — Володька, выходи, пойдем!

Володька прыгнул с печи и стал искать свою фуражку.

— Не ходи, Володя! — проговорил Родион несмело. — Не ходи с ними, сынок. Ты у нас глупый, словно ребенок малый, а они тебя добру не научат. Не ходи!

— Не ходи, сынок! — попросила Степанида и заморгала глазами, собираясь заплакать. — Небось, в кабак зовут.

— «В кабак»... — передразнил Володька.

— Опять пьяный вернешься, ирод собачий! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой. — Иди, иди и чтоб ты сгорел от водки, сатана бесхвостая!

— Ну, ты молчи! — крикнул Володька.

— Выдали меня за дурака, сгубили меня, сироту несчастную, пьяница рыжий... — заголосила Лукерья, утирая лицо рукой, которая была вся в тесте. — Глаза бы мои тебя не глядели!

Володька ударил ее по уху и вышел.

III.

Елена Ивановна и ее маленькая дочь пришли в деревню пешком. Они прогуливались. Как раз было воскресенье, и на улицу выходили бабы и девушки в своих ярких платьях. Родион и Степанида, сидевшие на крыльце рядышком, кланялись и улыбались Елене Ивановне и ее девочке, уже как знакомым. И из окон смотрело на них больше десятка детей; лица выражали недоумение и любопытство, слышался шопот:

— Кучериха пришла! Кучериха!

— Здравствуйте, — сказала Елена Ивановна и остановилась; она помолчала и спросила: — Ну, как поживаете?

— Живем ничего, благодарить бога, — ответил Родион скороговоркой. — Известно, живем.

— Какая наша жизнь! — усмехнулась Степанида. — Сами видите, барыня, голубушка, бедность! Всего семейства четырнадцать душ, а добытчиков двое. Одно звание — кузнецы, а приведут лошадь ковать, угля нет, купить не на что. Замучились, барыня, — продолжала она и засмеялась, — и-их как замучились!

Елена Ивановна села на крыльце и, сбыв свою девочку, задумалась о чем-то, и у девочки тоже, судя по ее лицу, бродили в голове какие-то невеселые мысли; в раздумье она играла нарядным кружевным зонтиком, который взяла из рук у матери.

— Бедность! — сказал Родион. — Заботы много, работаем — конца-краю не видать. Вот дождя бог не дает... Неладно живем, что говорить.

— В этой жизни вам тяжело, — сказала Елена Ивановна, — зато на том свете вы будете счастливы.

Родион не понял ее и в ответ только кашлянул в кулак. А Степанида сказала:

— Барыня, голубушка, богатому и на том свете ладно. Богатый свечи ставит, молебны служит, богатый нищим подает, а мужик что? Лба перекрестить некогда, сам нищий-разнищий,

уж где там спастись. И грехов много от бедности, да с горя все как псы лаем, хорошего слова не скажм, и чего не бывает, барыня-голубушка, — не дай бог! Должно, нет нам счастья ни на том, ни на этом свете! Все счастье богатым досталось.

Она говорила весело; очевидно, давно уже привыкла говорить о своей тяжелой жизни. И Родион тоже улыбался; ему было приятно, что у него старуха такая умная, словоохотливая.

— Это только так кажется, что богатым легко, — сказала Елена Ивановна. — У каждого человека свое горе. Вот мы, я и мой муж, живем не бедно, у нас есть средства, но разве мы счастливы? Я еще молодая, но у меня уже четверо детей; дети все болеют, я тоже больна, постоянно лечусь.

— А какая в тебе болезнь? — спросил Родион.

— Женская. У меня нет сна, не дают покою головные боли. Я вот сижу, говорю, а в голове нехорошо, слабость во всем теле, и я согласна, пусть лучше самый тяжелый труд, чем такое состояние. И душа тоже не покаяна. Постоянно боюсь за детей, за мужа. У каждой семьи есть свое какое-нибудь горе, есть оно и у нас. Я не дворянка. Дед мой был простой крестьянин, отец торговал в Москве и тоже был простой человек. А у моего мужа родители знатные и богатые. Они не хотели, чтобы он женился на мне, но он ослушался, поссорился с ними, и вот они до сих пор не прощают нас. Это беспокоит мужа, волнует, держит в постоянной тревоге; он любит свою мать, очень любит. Ну, я и беспокоюсь. Душа болит.

Около избы Родиона уже стояли мужики и бабы и слушали. Подошел и Козов и остановился, потряхивая своей длинной, узкой бородкой. Подошли Лычковы, отец и сын.

— И то сказать, нельзя быть счастливым и довольным, если не чувствуешь себя на своем месте, — продолжала Елена Ивановна. — Каждый из вас имеет свою полосу, каждый из вас трудится и знает, для чего трудится; муж мой строит мосты, одним словом, у каждого свое место. А я? Я только хожу. Полосы у меня своей нет, я не тружусь и чувствую себя как чужая. Все это я говорю, чтобы вы не судили по наружному виду; если человек одет богато и имеет средства, то это еще не значит, что он доволен своей жизнью.

Она встала, чтобы уходить и взяла за руку дочь.

— Мне у вас здесь очень нравится, — сказала она и улыбнулась, и по этой слабой, несмелой улыбке можно было судить, как она в самом деле нездорова, как еще молода и как хороша собой; у нее было бледное, худощавое лицо с темными бровями и белокурые волосы. И девочка была такая же, как мать, худощавая, белокурая и тонкая. Пахло от них духами.

— И река нравится, и лес, и деревня... — продолжала Елена Ивановна. — Я могла бы прожить тут всю жизнь, и мне кажется, здесь бы я выздоровела и нашла свое место. Мне хочется, страстно хочется помогать вам, быть вам полезной, близкой.

Я знаю вашу нужду, а то, чего не знаю, чувствую, угадываю сердцем. Я больна, слаба, и для меня, пожалуй, уже невозможно изменить свою жизнь, как я хотела бы. Но у меня есть дети, я постараюсь воспитать их так, чтобы они привыкли к вам, полюбили вас. Я буду внушать им постоянно, что их жизнь принадлежит не им самим, а вам. Только прошу вас убедительно, умоляю, доверяйте нам, живите с нами в дружбе. Мой муж добрый, хороший человек. Не волнуйте, не раздражайте его. Он чуток ко всякой мелочи, а вчера, например, ваше стадо было у нас в огороде, и кто-то из ваших сломал плетень у нас на пасеке, и такое отношение к нам приводит мужа в отчаяние. Прошу вас, — продолжала она умоляющим голосом и сложила руки на груди, — прошу, относитесь к нам, как добрые соседи, будем жить в мире! Сказано ведь: худой мир лучше доброй ссоры, и не купи имение, а купи соседа. Повторяю, мой муж добрый человек, хороший; если все будет благополучно, то мы, обещаю вам, сделаем все, что в наших силах; мы починим дороги, мы построим вашим детям школу. Обещаю вам.

— Оно, конечно, благодарим покорно, барыня, — сказал Лычков-отец, глядя в землю, — вы образованные, вам лучше знать. А только вот в Ересневе Воронов, богатый мужик, значит, обещал выстроить школу, тоже говорил — я вам да я вам, и поставил только сруб да отказался, а мужиков потом заставили крышу класть и кончать, тысяча рублей пошла. Воронову-то ничего, он только бороду гладит, а мужичкам оно как будто обидно.

— То был ворон, а теперь грач налетел, — сказал Козов и подмигнул.

Послышался смех.

— Не надо нам школы, — проговорил Володька угрюмо. — Наши ребята ходят в Петровское и пускай. Не желаем.

Елена Ивановна как-то оробела вдруг. Она побледнела, осунулась, вся сжалась, точно к ней прикоснулись чем-то грубым, и пошла, не сказав больше ни слова. И шла все быстрее и быстрее, не оглядываясь.

— Барыня! — позвал Родион, идя за ней. — Барыня, погоди-ка, что я тебе скажу.

Он шел за ней следом, без шапки, и говорил тихо, как будто просил милостыню:

— Барыня! Погоди, что я тебе скажу.

Вышли из деревни, и Елена Ивановна остановилась в тени старой рябины, около чьей-то телеги.

— Не обижайся, барыня, — сказал Родион. — Чего там! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и все обойдется. Народ у нас хороший, смирный... народ ничего, как перед истинным тебе говорю. На Козова, да на Лычковых не гляди, и на Володьку не гляди, он у меня дурачок: кто первый сказал, того и слушает. Прочие народ смирный, молчат... Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, вступиться, значит,

да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет. Не обижайся... потерпи... Чего там!

Елена Ивановна смотрела на широкую спокойную реку, о чем-то думала, и слезы текли у нее по щекам. И Родиона смущали эти слезы, он сам едва не плакал.

— Ты ничего... — бормотал он. — Потерпи годика два. И школу можно, и дороги можно, а только не сразу... Хочешь, скажем к примеру, посеять на этом бугре хлеб, так сначала выкорчуй, выбери камни все, да потом вспаши, ходи да ходи... И с народом, значит, так... ходи да ходи, пока не осилишь.

От избы Родиона отделилась толпа и пошла по улице в эту сторону к рябине. Запели песню, заиграла гармоника. И подходили все ближе и ближе...

— Мама, уедем отсюда! — сказала девочка, бледная, прижимаясь к матери и дрожа всем телом. — Уедем, мама!

— Куда?

— В Москву... Уедем, мама!

Девочка заплакала. Родион совсем смутился, лицо у него сильно вспотело. Он вынул из кармана огурец, маленький, кривой, как полумесяц, весь в ржанных крошках, и стал совать его девочке в руки.

— Ну, ну... — забормотал он, хмурясь сурово. — Возьми-ка-сь огурчика, покушай... Плакать не годится, маменька прибьет... дома отцу пожалится... Ну, ну...

Они пошли дальше, а он все шел позади них, желая сказать им что-нибудь ласковое и убедительное. И видя, что обе они заняты своими мыслями и своим горем и не замечают его, он остановился и, заслоняя глаза от солнца, смотрел им вслед долго, пока они не скрылись в своем лесу.

IV.

Инженер, повидимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу или покушение. Ворота у него были на запоре даже днем, а ночью в саду ходили два сторожа и стучали в доску, и уже из Обручанова никого не брали на поденную. Как нарочно кто-то (из мужиков или босяков — неизвестно) снял с телеги новые колеса и обменял их на старые, потом, немного погодя, унесли две уздечки и клещи, и даже в деревне начался ропот. Стали говорить, что надо бы сделать обыск у Лычковых и у Володьки, и тогда клещи и уздечки нашлись у инженера в саду под забором: кто-то подбросил.

Как-то шли толпой из леса, и опять по дороге встретился инженер. Он остановился и, не поздоровавшись, глядя сердито то на одного, то на другого, начал:

— Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, но ваши девушки приходят чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или не про-

си, — это все равно. Просьба, и ласки, и убеждение, вижу, все бесполезно.

Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал:

— Я и жена относились к вам, как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего не остается!

И, сделав над собой усилие, сдерживая свой гнев, чтобы не сказать еще чего-нибудь лишнего, он повернул и пошел дальше.

Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой.

— Да... — начал он, отдохнув. — Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу... Да... Девоч чуть свет видел... Отчего, говорит, грибов не несут... жене, говорит, и детям. А потом глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя презирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел... Дай бог здоровья... Пошли им, господи...

Степанида перекрестилась и вздохнула.

— Господа добрые, простоватые... — продолжал Родион. — «Презирать будем...» — при всех обещал. На старости лет и... оно бы ничего... Вечно бы за них бога молил... Пошли царица небесная...

На Воздвиженье, 14 сентября, был храмовой праздник. Лычковы, отец и сын, еще с утра уезжали на ту сторону и вернулись к обеду пьяные; они ходили долго по деревне, то пели, то бранились нехорошими словами, потом подрались и пошли в усадьбу жаловаться. Сначала вошел во двор Лычков-отец с длинной осиновой палкой в руках; он нерешительно остановился и снял шапку. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай.

— Что тебе? — крикнул инженер.

— Ваше высокоблагородие, барин... — начал Лычков и заплакал. — Явите божескую милость, вступитесь... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется... ваше высокоблагородие...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой; он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.

— Не мое дело разбирать вас, — сказал инженер. — Ступай к земскому или к становому.

— Я везде был... прошение подавал... — проговорил Лычков-отец и зарыдал. — Куда мне теперь идти? Значит, он меня теперь убить может? Он, значит, все может? Это отца-то? Отца?

Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стукали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьезные. Это пришли мужики,

чтобы поздравить с праздником, но, увидев Лычковых, посовестились и не вошли во двор.

На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу...

V.

К мосту давно пригляделись, и уже трудно было представить себе реку на этом месте без моста. Кучи мусора, оставшиеся с постройки, уже давно поросли травой, про босяков забыли, и вместо «Дубинушки» слышится теперь почти каждый час шум проходящего поезда.

Новая дача давно продана; теперь она принадлежит какому-то чиновнику, который в праздники приезжает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и потом уезжает обратно в город. У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, и когда мужики ему кланяются, то он не отвечает.

В Обручанове все постарели; Козов уже умер, у Родиона в избе стало детей еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут попрежнему бедно.

Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша, друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На Новой даче тихо, нет ни души, и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем, — и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке, — вспоминаются белые лошади, маленькие пони, фейерверки, лодка с фонарями, вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила в деревню и так ласково говорила. И всего этого точно не было. Все, как сон или сказка.

Они идут нога за ногу, утомленные, и думают...

В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором? Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?

И не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.

— Что ты? — спрашивает Родион.

— Жили без моста... — говорит Володька мрачно. — Жили мы без моста и не просили... и не надо нам.

Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понутив головы.

ДУШЕЧКА.

Оленька, дочь отставного коллежского ассесора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работашь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком и, когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: — «Да, ничего себе»... и тоже улыбались, а гости-дамы не могли

удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние, улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст на изнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял,

а она поила его малиной и липовым цветом, натираала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. — Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понеделник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: — бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоростижно сучала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хсхороны» и какое-то еще непонятное слово «сучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила! На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду и, как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя, как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе, — и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос и, едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей

очень понравился. И, повидимому, она тоже проговорила на него впечатление, потому что, немного погодя, к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, — говорила она покупателям и знакомым. — Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. — Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стучались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно.

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И все вы дома, или в конторе, — говорили знакомые. — Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих, что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне, и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот

ИМЕНИ

В. Г. БЕЛЫЙ

нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо, — говорила Оленька знакомым, — слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васичкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи, — говорила она, прощаясь с ним и провожая его с свечой до лестницы. — Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная...

И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то, небось, все понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпустить лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа. — Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилу мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь, и что делалось у нее в доме, можно

было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володичка, о чем же мне говорить?!

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка, и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем

ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове, и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее попрежнему и пусто, и нудно, и отдаст полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычит, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно! Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом, — и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Эй вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости. — Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться, — рассказывал он. — Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму, — заволнована-

лась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее светилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, эта ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас сщенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Эй жаль будить его.

— Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и полфранцузского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю

дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться, — рассказывает она на базаре. — Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, — то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, и у него родятся дети... Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычит:

— Мур...мур...мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О, господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу», — думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись!

1899.

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ.

Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлег в земской избе. Тут же, в земской избе, по случайности, находился и труп, труп земского страхового агента Лесницкого, который три дня назад приехал в Сырню и, расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно для всех; и то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство; понадобилось вскрытие.

Доктор и следователь в сенях стряхивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял сотский Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином.

— Ты кто? — спросил доктор.

— Цоцкай... — ответил сотский.

Он и на почте так расписывался: цоцкай.

где же понятые?

Конечно, чай пить пошли, ваше высокоблагородие.

Аванзал была чистая комната, «приезжая», или господская, назови — черная, с большой печью и полатами. Доктор и следователь, а за ними сотский, держа лампочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши, и все тут было нехорошо, жутко: и темные стены, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертвого тела. На столе был самовар, давно уже холодный, и вокруг него свертки, должно быть, с закусками.

— Стреляться в земской избе — как это бестактно! — проговорил доктор. — Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь, в сарае.

Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следователь, сел напротив.

— Эти истерики и неврастеники большие эгоисты, — продолжал доктор с горечью. — Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой; когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствием; и когда ему приходит охота застрелиться, то вот он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе! Потому-то старики так и не любят этого нашего «нервного века».

— Мало ли чего не любят старики, — сказал следователь, зевая. — Вы вот укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийствами. Прежний, так называемый, порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска... Что лучше?

— Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе.

— Уж такое горе, — заговорил сотский, — такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится, ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, все табуном. И понятые тоже...

Доктор Старченко, мужчина средних лет, с темной бородой, в очках, и следователь Лыжин, белокурый, еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать, а был еще только шестой час, и им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, утренний холод; и прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как все это не похоже на жизнь, которой они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая непогоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. О, как дорого они дали бы теперь, чтобы только пройти по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане...

— У-у-у-у! — пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть, вывеска на земской избе. — У-у-у-у!

— Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться, — сказал Старченко, поднимаясь. — Еще шестой час, спать рано, я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон-Тауниц, всего три версты от Сырни. Поеду к нему, проведу там вечер. Сотский, ступай, скажи ямщику, чтобы не распрягал. А вы как? — спросил он у Лыжина.

— Не знаю. Должно быть, спать лягу.

Доктор запахнулся в шубу и вышел. Слышно было, как он разговаривал с ямщиком, как на озябших лошадях вздрагивали бубенчики. Уехал.

— Тебе, барин, здесь ночевать не годится, — сказал сотский, — иди в ту половину. Там не чисто, да уж одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю, потом этого навалю тебе сена, спи, ваше высокоблагородие, с богом.

Немного погодя, следовательно сидел в черной половине за столом и пил чай, а сотский Лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за шестьдесят лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый, на лице наивная улыбка, глаза слезились, и все он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках, и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, повидимому, вызывала в нем жалость, и потому, вероятно, он говорил ему «ты».

— Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет становой, или следователь, чтобы ему доложить, — говорил он. — Значит, такое дело, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снегу намело — страсть; пожалуй, придешь туда не раньше, как в полночь. Ишь гудет как.

— Старшина мне не нужен, — сказал Лыжин. — Ему тут нечего делать.

Он с любопытством посматривал на старика и спросил:

— Скажи, дед, сколько лет ты ходишь сотским?

— Сколько? Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того время каждый день хожу. У людей праздник, а я все хожу. На дворе святая, в церквах звон, Христос воскрес, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цифры записывать, — желтые, белые, красные, — и всякий барин, или батька, или богатый мужик беспрерывно записать должен раз десять в год, сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые. Конечно, пиши что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру сказать, барина потрошить не к чему, сам знаешь, пустое дело, только руки поганить, а ты вот потрудишься, ваше высокоблагородие, приехал, потому форма; ничего тут не поделаешь. Тридцать лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопал, и замерзал, — всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был...

— За что под судом?

— За мошенничество.

— То-есть как за мошенничество?

— А так, значит, писарь Хрисанф Григорьев подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле, меня за водкой в трактир посылали; ну, со мной писарь не делился, даже стаканчика не поднес, но как я по нашей бедности, по видимости, значит, человек не надежный, не стоящий, то нас обеих судили; его в острог, а меня, дал бог, оправдали по всем правам. В суде такую бумагу читали. И все в мундирах. На суде-то. Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непривычного — не приведи бог, гибель сущая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома в волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почишь.

— А сколько ты получаешь жалованья? — спросил Лыжин.

— Восемьдесят четыре рубля в год.

— Небось ведь и доходишки есть. Не без того?

— Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу принес — обижается, шапку перед ним снял — обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь, только насмеются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин; и добрый, и, глядишь, чверезый, в своем уме, а как увидит, так и кричит, сам не понимает что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит...

Сотский проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать.

— Как? — спросил Лыжин. — Ты повтори.

— Администрация! — громко повторил сотский. — Давно уж так зовет, лет шесть. Здравствуй, администрация! Но я ничего, пускай, бог с ним. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну, выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают; мужики — те душевней, бога боятся: кто хлеба, кто щец даст похлебать, кто и поднесет. Старосты чайком потчуют в трактире. Вот сейчас понятые пошли чай пить. «Лошадин, — говорят, — побудь тут за нас, постереги», — и по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчерась дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли.

— А тебе разве не страшно?

— Страшно, барин, да ведь наше дело такое — служба, никуда от ней не уйдешь. Летось веду арестанта в город, а он меня — по шее! по шее! по шее! А кругом поле, лес, — куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина, Лесницкого, я еще эканького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недощотовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше, как в версте, и того меньше, межа с межей. И была у господина Лесницкого сестра, девица богобоязливая и милосердная. Помяни, господи, душу рабы

твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помирала, то все свое добро поделила; на монастырь записала сто десятин, да нам, обществу крестьян деревни Недощотовой, на помин души, двести, а братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, ан — нет, погоди, на свете неправдой не проживешь, брат. Барин потом на духу лет двадцать не был, его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер, лопнул. Толстучий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, все за долги забрали, все как есть; ну, в науках далеко не пошел, ничего не может, и председатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думает, его, Сережу-то, к себе в агенты, пускай страхует, дело немудрое». А барин молодой, гордый, тоже хочется, да пошире, да повидней, да повольтотней, ну, обидно, значит, в тележонке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать; ходит и все в землю глядит, глядит и молчит; окликнешь его у самого уха: — «Сергей Сергеич!» — а он оглянется этак: — «А?» — и опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое и не поймешь, что оно такое на свете, Господи милостивый. Сказать, отец был богатый, а ты бедный, обидно, это конечно, ну, да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казенная, и теперь, в нашей Недощотовой, ежели говорить, мой дом что ни-на-есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей. У Петрака было четыре батрака, а теперь Петрак сам батрак.

— Отчего же ты обеднял? — спросил следователь.

— Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь.

Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить; и сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, «не стоящих» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. В приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеялом, и ее можно было принести оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник (который, быть может, садился на нее перед смертью), и теперь на ней было бы неприятно спать...

«Еще только половина восьмого — подумал Лыжин, взглянув на часы. — Как это ужасно!»

Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лег и укрылся пледом. Лошадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, почмокивая и вздыхая, все

топтался у стола, наконец, взял свою лампочку и вышел; и глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лыжин подумал:

«Точно колдун в опере».

Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и снег на рамах.

— У-у-у-у! — пела метель. — У-у-у-у!

— Ба-а-а-тюшки! — провыла баба на чердаке, или так только слышалось. — Ба-а-а-тюшки мои-и!

— Ббух! — ударилось что-то снаружи о стену. — Трах!

Следовательно прислушался: никакой бабы не было, был ветер. Было прохладно, и он сверх пледа накрылся еще шубой. Греясь, он думал о том, как все это — и метель, и изба, и старик, и мертвое тело, лежавшее в соседней комнате, — как все это было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как все это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве, или где-нибудь под Москвой, и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом; тут же, за тысячу верст от Москвы, все это как будто иначе освещено, все это не жизнь, не люди, а что-то существующее только «по форме», как говорит Лошадин, все это не оставит в памяти ни малейшего следа и забудется, едва только он, Лыжин, выедет из Сырни. Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония; когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам, или прокурором окружного суда, быть светским львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметною ролью и только ждешь одного от жизни — скорее бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским улицам, заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что, если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно и останется еще впереди целая жизнь. И впадая в забытие, когда уже у него стали путаться мысли, он воображал длинные коридоры московского суда, себя, говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то все гудит:

— У-у-у! У-у-у!

— Ббух! Трах! — раздавалось опять. — Бух!

И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами, черноволосый, худой, бледный; у него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий, умный профиль; и высокие сапоги, в которых он был, не шли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: — «Это наш земский агент».

— Так это был Лесницкий... вот этот самый... — соображал теперь Лыжин.

Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, и ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то, ходит точно так же, как Лесницкий.

Вдруг стало страшно, похолодела голова.

— Кто здесь? — спросил он с тревогой.

— Цоцкай.

— Что тебе тут нужно?

— Я, ваше высокоблагородие, спроситься. Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы. Приказывал прийти. Сходить нешто?

— Ну тебя! Надоел... — проговорил с досадой Лыжин и опять укрылся.

— Не осерчал бы... Пойду, ваше высокоблагородие, счастливо оставаться.

И Лошадин вышел. В сенях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понятые вернулись.

«Завтра отпустим этих бедняков пораньше... — думал следовательно. — Начнем вскрытие как только рассветет».

Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые, шумные. Хлопнула дверь, голоса, чирканье спичкой...

— Вы спите? Вы спите? — спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой; он был весь покрыт снегом и от него веяло холодом. — Вы спите? Вставайте, поедем к фон-Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедьте, там по крайней мере поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в двадцать минут докатим.

— А который теперь час?

— Четверть одиннадцатого.

Лыжин, сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный, пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, которые, казалось, бежали в ужасе; под заборами и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следовательно сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полость. Обоим было жарко.

— Трогай!

Поехали по деревне. «Бразды пушистые взрывая...» — думал вяло следовательно, глядя, как пристяжная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы, и теперь тоже думал о покойнике.

— А у Тауница, — сказал Старченко, — когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял.

На выезде из деревни, на повороте, кучер вдруг крикнул во все горло:

— С дороги!

Промелькнул какой-то человек; он стоял по-колена в снегу, сойдя с дороги, и смотрел на тройку; следовательно видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это Лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез.

Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке; мелькали и старые сосны, и молодой березняк, и высокие молодые, корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес, но скоро все смешалось в воздухе, в облаках снега; кучер говорил, что он видит лес, следовательно же не было видно ничего, кроме пристяжной. Ветер дул в спину.

Вдруг лошади остановились.

— Ну, что еще? — сердито спросил Старченко.

Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки; делал он круги все больше и больше, все удаляясь от саней, и было похоже, что он танцует; наконец, вернулся и стал сворачивать вправо.

— С дороги сбился, что ли? — спросил Старченко.

— Ничего-о-о...

Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги и кучер слезал с козел и танцевал. Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно и не было видно ни зги, точно неслись куда-то в пропасть, и вдруг — ударил в глаза яркий свет подъезда и окон, раздался добродушный, залихватый лай, голоса... Приехали.

Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле «Un petit verre de Cliquot», и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахнуло теплом, запахом старых барских покоев, где какая бы ни была погода снаружи, живет так тепло, чисто, удобно.

— Вот и прекрасно, — говорил фон-Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следовательно руку. — Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но не долго, всего два года; приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу, — продолжал он, очевидно, сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко; он и гости поднимались наверх. — Жены у меня нет, умерла, а это, рекомендую, мои дочери. — И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом: — Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам!

В зале находились его четыре дочери, молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные, и их кузина с детьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь,

и две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот, потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Clignac», и дети запрыгали, топая в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали.

Потом дети прощались, уходя спать. Следовательно смеялся, танцевал кадрили, ухаживал, а сам думал: не сон ли все это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех — такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он все думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничто не случайно, все осмысленно, законно и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе.

За ужином шел разговор о Лесницком.

— Он оставил жену и ребенка, — говорил Старченко. — Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервно-больных детей — это преступление.

— Несчастный молодой человек, — говорил фон-Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой. — Сколько надо прежде переждать, выстрадать, чтобы, наконец, решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только:

— Да, самоубийства — явление не желательное.

Он спал в теплой комнате, в мягкой постели, укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства; быть может, это оттого, что в соседней комнате долго разговаривали доктор и фон-Тауниц, и вверху над потолком и в печке метель шумела так же, как в земской избе, и так же выла жалобно:

— У-у-у-у!

У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор еще не помирился с этим и, о чем бы ни говорил, всякий раз вспоминал о жене; и в нем уже не осталось ничего прокурорского.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» — думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.

Следователь спал не покойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница, и не в мягкой чистой постели, а все еще в земской избе, на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятые; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему спать вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах подходил к конторке бухгалтера. — «Это наш земский агент...» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок-о-бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

— Мы идем, мы идем, мы идем.

Старик был похож на колдуна в опере, и сба в самом деле пели точно в театре:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем пскоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок-о-бок, держась друг за друга? Какая-то связь невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницей, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик-мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, — это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.

Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем, и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.

То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей, слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь... И опять:

— Мы идем, мы идем, мы идем...

Точно кто стучит молотком по вискам.

Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон-Тауниц говорил громко доктору:

— Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе. Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.

— Но ведь только три версты, — говорил доктор умоляющим голосом.

— Да хоть пол-версты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад крошечный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.

— Надо быть, к вечеру утихнет, — сказал мужик, топивший печь.

И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стук и думал мрачно:

«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель, и больше ничего...»

В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.

«А Лесницкий лежит, — думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах. — Лесницкий лежит, понятия ждут»...

Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обычно около двух суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли

в карты, пели, танцевали, наконец, ужинали. День прошел, легли спать.

Ночью под утро все успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.

У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:

— Что ты тут стоишь, старый чорт? Пошел вон отсюда.

— Ваше высокоблагородие, народ беспокоится... — заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во все лицо, и видимо довольный, что, наконец, увидел тех, кого так долго ждал. — Народ очень беспокоится, ребята плачут... Думали, ваше благородие, что вы опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши...

Доктор и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.

1899.

ДАМА С СОБАЧКОЙ.

I.

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мысля-

щая. Она много читала, не писала в письмах з, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их, как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле, горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — и когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении, или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверно, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

II.

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море, пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пасса-

жиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше, — сказал он. — Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, — которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее плохо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров. — Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она. — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадов, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно... — бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон-Дидериц, — сказал Гуров. — Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было

ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба — Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна, после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере, или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду, или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. — Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать, — говорила она. — Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда

прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похощение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, несбыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север, — думал Гуров, уходя с платформы. — Пора!»

III.

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня не надолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоми-

нания разгорались все сильнее. Досносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс, или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуй. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неспределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном стхвывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме, или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал, или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург, хлопотать за одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон-Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров, не спеша, пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно, — думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер. — Вот и выспался за чем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу, он — за ней; и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О, господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы крепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать... — продолжала Анна Сергеевна шопотом. — Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, стыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV.

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей, — все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предпологал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он. — Что нового?

— погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернувшись от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на

которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он. — Поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видаться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается.

1899.

НА СВЯТКАХ.

I.

— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо.

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула: ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала

ли ночью — и все думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел все дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить, как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь — это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала, и как будто даже говорила: «флю-флю-флю». Было душно.

— Что писать? — спросил опять Егор.

— Чего! — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони! Небось, не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

— Есть. Стреляй дальше.

— А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа... царя небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

— Чего и вам желаем от господа... царя небесного... — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжело вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? — спросил он.

Старики молчали.

— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.

— Он из солдат, батюшка, тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользуется. Так он значит у доктора в швейцарах.

— Вот тут написано... — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. — От Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса сообщала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внимание, — продолжал Егор писать, — в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя общее, Знаменитое. Солдатом называется Первейший Генерал и последней Рядовой...»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

— Внучат поглядеть, оно бы ничего.

— Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито. — Да может их и нету!

— Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И по сему Вы можете судить, — торопился Егор, — какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Первейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подсознательно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

— Ничего, гладко... — сказал он, — дай бог здоровья. Ничего...

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

— У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать верст.

II.

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех приходявших он поздравлял с новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним — почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

— С новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

— Спасибо, любезный. И тебя также.

И идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал):

— А в этой комнате что?

— Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмострил полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, самый старший, стоял возле, полсжив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнату, Андрей подал жене письмо и сказал:

— Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется.

— Это от бабушки, от дедушки... — говорила она. — Из деревни... Царица небесная, святители угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалялись.

ИМЕН
В. Г. БЕЛИН

гор. Свердлов

— А в поле зайчики бегают, — причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. — Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалосливая. В деревне душевно живут, бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступница матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни одного слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

— А в этой комнате что? — спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:

— Душ Шарко, ваше превосходительство!

1900.

В ОВРАГЕ.

I.

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситце-набивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали.

В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики — три ситцевых и одна кожевенная — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она счита-

лась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владеец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин.

Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыскном отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.

У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась, или покрикивала; и, что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:

— Ай-да невестушка! Ай-да красавица, матушка...

Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке, в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампы, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки; слышались под окнами жалобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара

помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.

— Тут мамаша взяли две осьмушки чаю, — сообщил он потом отцу. — Куда это записать?

Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.

— Варварушка, ежели тебе, матушка, — сказал он ласково, — понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся.

И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:

— Вы, мамаша, ежели что нужно, — берите!

В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадах и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую свинину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали стпьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине.

Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксиныя уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный, черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких, ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодежато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук, и в дрожки был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:

— Что стал там? Проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий:

— Бог дасьть!

Он уезжал по делам; жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксиныя торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, ко-

торых она обижала; и в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке, или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко.

В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых Старших, Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:

— Да, теперь нам без телефона будет трудновато.

Хрымины Старшие постоянно судились с Младшими, иногда и Младшие ссорились между собой и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала месяц, два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины Младшие устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около своей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару.

Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и, если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой.

II.

Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги, в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт точного чаю для удовлетворения вашей физической потребности».

Внизу каждого письма было нацарапано, точно испорченным пером: «Анисим Цыбукин», и под этим опять тем же превосходным почерком: «Агент».

Письма читались вслух по нескольку раз, и старик растроганный, красный от волнения, говорил:

— Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж пускай. Кто к чему приставлен.

Как-то перед масленицей пошел сильный дождь с крупой; старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь —

Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время; и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду; она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

— Как же это такое, батюшки? — говорила она. — Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков.

Решили женить Анисима.

— Ох-тех-те!.. Младшего брата давно оженили, — говорила Варвара, — а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? Этих-тех, женишься, бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Без порядку-те живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох-тех-те, грех один с вами, с городскими.

Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскивали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал:

— Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые.

Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова; у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуево, и только смущала всех ее ужасная бедность; рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе «так», а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево.

Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светила в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски — доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться, это—ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни.

— Нет приданого — и мы без внимания, — говорил старик тетке, — для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле — золотые руки.

Лица стояла у двери и как будто хотела сказать: «делайте со мною, что хотите: я вам верю», а ее мать Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно:

— Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно.

А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей, исхудалой груди, отвечала:

— Что вы, помилуйте-с... Много вами довольны-с.

После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на Красной горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды, — был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.

III.

В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со старинными свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать.

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолившись богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксиные — двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином; вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.

— Ничего, благодарить бога, живут хорошо, — говорил Анисим. — Только вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни: померла его старуха Софья Никифоровна. От чахотки. Псминальный обед за упокой души заказывали у кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые мужики, — наши земляки, — и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Нешто мужик пснимает соус!

— Два с полтиной! — сказал старик и покачал головой.

— А что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь, — ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйста по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтобы после всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.

— И все врет, — проговорил старик в восхищении. — И все врет!

— Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. И если б рассказать, мамаша, — весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре, — какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки — весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он это чувствует и все за мною ходит, не отстаёт, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху продает. — Стой, рубаха краденая! — И верно, так и выходит: рубаха краденая.

— Откуда же ты знаешь? — спросила Варвара.

— Ни откуда, глаз у меня такой... Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней: краденая, и все тут. У нас в сыскном так уж и говорят: «Ну, Анисим пошел вальдшнепов стрелять!» Это значит — искать краденое. Да.. Украсть всякий может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.

— А в нашем селе у Гунторевых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок, — сказала Варвара и вздохнула. — И поискать некому... Ох-тех-те...

— Что ж? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, неумолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.

В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соления и маринады, и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то-и-дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках, несилаясь по двору, как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба; прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.

— За невестой поехали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... В третьем часу побежал народ: опять слышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими звонкими голосами стучат по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, — глядит и не понимает. Анисим, в черном сюртуке, с красным шнурком вместо галстука, задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня — завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже навсрочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, неоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко,

но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.

Послышался тревожный детский плач:

— Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!..

— Тише там, — крикнул священник.

Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо всей силы, вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров, высокий, худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым:

— Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит. — Он припал к плечу старика и всхлипнул. — Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! — проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: — Хо-хо-хо! И эта хороша у тебя нерестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенькое, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много.

Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом, — он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал.

После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в один голос, — и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой кружилась голова.

Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал.

— Деточки, деточки, деточки... — бормотал он быстро. — Аксиныюшка матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...

Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие

из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собою всех своих детей и, точно хищная птица, косилась на тарелки и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.

Лица сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:

— У меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато, — никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!

Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадрили, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг в присядку; зеленая Акси́нья только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул:

— Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!

У Акси́ньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

— Сам вышел! Сам!

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там, во дворе, нависая друг

на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все — и его богатство, и обиды.

— Молодчина Григорий Петров! — слышалось в толпе. — Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

— Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменял хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

— Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли.

IV.

Прошло пять дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти.

— Мало с нами пожил, — сказала она. — Заскучал, небось? Ох-тех-те... Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно; старик сказывал: две тысячи пошло. Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?

— Кто к чему приставлен, мамаша.

— Да ведь умирать надо? Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом!..

— А вы бы сами поговорили.

— Н-ну! Я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово: кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У бога суд праведный.

— Конечно, никто не станет разбирать, — сказал Анисим и вздохнул. — Бога-то ведь, все равно, нет, мамаша. Чего уж там разбирать!

Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась, и всплеснула руками. Оттого, что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился.

— Бог, может, и есть, а только веры нет, — сказал он. — Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть

вдруг запищала, и, пока меня венчали, я все думал: есть бог! А как вышел из церкви — и ничего. Да и откуда мне знать, есть бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а шкурки-то у папаши... Вот вам и вера!

Анисим подмигнул глазом и покачал головой.

— И старшина тоже не верит в бога, — продолжал он, — и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего, а я, чай-то чаем, вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь — и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть бог или нет... Ну-с, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.

Анисим поклонился Варваре в ноги.

— Благодарим вас за все, мамаша! — сказал он. — Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.

Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:

— Меня Самородов впутал в одно дело: богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.

— Ну, вот, что там! Ох-тех-те... Бог милостив. А ты бы, Анисим, этих-тех, жену бы свою приласкал, а то глядите друг на дружку надутые оба; хоть бы усмехнулись, право.

— Да, какая-то она чудная... — сказал Анисим и вздохнул. — Не понимает ничего, молчит все. Молода очень, пускай подрастет.

У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан.

Старик Цыбукин разбежался и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка, чуть-чуть.

— Прощай, — сказал он.

И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым.

Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую — ее недавно побелили — и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым.

На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.

— Я угощаю! — сказал Анисим.

Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику: вот-де какой у меня сын.

— Остался бы ты, Анисим, дома, при деле, — сказал он, — цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног.

— Никак нельзя, папаша.

Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке.

Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, Липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок.

Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крикнул.

— Да, и невестки же у тебя, Григорий Петров, бог тебе послал! — сказал он. — Не бабы, а чистый клад!

V.

8 июля, в пятницу, Елизаров, по прозвищу Костыль, и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника — Казанской божией матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.

— А-аа!.. — удивлялся Костыль, слушая Липу. — А-а!.. Ну-у?

— Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница, — говорила Липа. — Сяду себе в уголочке и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем, а они что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много — четыре банки. «Кушай, говорят, Липа, не сомневайся».

— А-аа!.. Четыре банки!

— Богато живут. Чай с белой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!

— Чего ж тебе страшно, деточка? — спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.

— Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а только, как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и бога молила. А теперь Аксины боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть земляца Бутёкино, десятин сорок, земляца, говорят, с песочком и вода есть, так ты, говорят, Аксиюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксины и говорит старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилось. «Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела... Подали оладьи — не ест!

— А-аа!.. — удивился Костыль. — Не ест!

— И скажи, сделай милость, когда она спит! — продолжала Липа. — С полчаса поспит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает: не сожгли б чего мужики, не украли б чего... Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает, будто через Аксиныю все. Два брата пообещались ей завод построить, а третий обижается, а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам корочки собирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что, пахать пошел или дрова пилить, что срамиться! «Отбился, говорит, я от христианской работы, ничего, говорит, не умею, Липынька!..»

Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками. И идти с ним рядом было трудно.

У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.

— Эй, девки-и! — кричал Елизаров. — Эй, красотки!

В ответ слышался смех.

— Костыль идет! Костыль! Старый хрен!

И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома; оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный, дикий цвет. Видна была на той стороне по скату рожь — и копны, и снопы там, сям, точно раскиданные бурей, и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день погромыхивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думал о том, дал бы бог го-время убратся с хлебом, и было весело и радостно, и непокойно на душе.

— Косари нынче дороги, — сказала Прасковья. — Рубль сорок в день!

А с ярмарки из Казанского народ все шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята... То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая упрямылась, то спять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.

— А наши фабриканты что-то не в себе... — сказал Елизаров. — Беда! Костюков осерчал на меня. «Много, говорит, тесу пошло на карнизы». — Как много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем, тес-то. «Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван, такой, сякой! Не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!» — Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, все равно каждый день чай пил. «Все, говорит, вы жулики...» Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше тебя, — ты смолчать должен». — Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после,

значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!

Костыль подумал и добавил:

— Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.

Солнце уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собою бездонную пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ, — быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо.

Наконец, вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными, черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

— Дедушка-а! — говорил за воротами косарь, как бы дразня. — Заплати хоть половину! Дедушка-а!

И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно... Костыль сел тоже чай пить.

— Были мы, значит, на ярмарке, — начал он рассказывать. — Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе, господи. И случай такой вышел, нехороший: кузнец Сашка купил табак и даст полтинник, значит, купцу. А полтинник фальшивый, — продолжал Костыль и сглянулся; ему хотелось говорить шепотом, но говорил он придушенным, сильным голосом, и всем было слышно. — А полтинник выходит фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору...

— Дедушка-а! — дразнил все тот же голос за воротами. — Дедушка-а!

Наступило молчание.

— Ах, деточки, деточки, деточки... — быстро забормотал Костыль и встал; его одолевала дремота. — Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать. Стал уж я трухлявый. Балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!

И уходя, он сказал:

— Умирать, должно, пора!

БИБЛИОТ

ИМЕНИ

В. Г. БЕЛИНС

гор. Свердловс

И всхлипнул. Старик Цыбукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко на улице.

— А Сашка-кузнец, чай, наврал, — сказала Аксиныя, угадав его мысли.

Он пошел в дом и, немного погодя, вернулся со свертком; развернул — и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой...

— Рубли-то взаправду фальшивые... — проговорил он, глядя на Аксиныю и точно недоумевая. — Это те... Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми, — зашептал он и сунул ей в руки сверток, — возьми, брось в колодец... Ну их! И гляди, чтоб разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самовар, туши огонь...

Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сених, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется — в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирает лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших играли на дорогой гармонике... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксиныя, держа в руках постель.

— Тут, пожалуй, прохладней... — проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю.

Она не спала и тяжело вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все — и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и слышались опять шаги: в дверях показался старик, весь белый.

— Аксиныя! — позвал он. — Ты здесь, что ли?

— Ну! — отозвалась она сердито.

— Я тебе давеча сказал, чтобы бросила деньги в колодец. Ты бросила?

— Вот еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала...

— Ах, боже мой! — проговорил старик в изумлении и в испуге. — Озорная ты баба... Ах, боже мой!

Он всплеснул руками и ушел, и, пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя. Аксиныя села и вздохнула тяжело

с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.

— И зачем ты отдала меня сюда, маменька! — проговорила Липа.

— Замуж итти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.

VI.

Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме; и когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.

Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла или, как говорил глухой, «запкорубла»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бог дасьть!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал попрежнему что следует; и три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился.

Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошения, пожертвовал куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «душа меру знает» и с длинной ложечкой.

— Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому, — говорила Варвара. — Ох-тех-те... Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам... До суда бы хоть выпустили бы!.. Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, попрежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело — кирпичный завод

в Бутёкине, и Акси́нья ездилa туда почти каждый день, в тарантасе; она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

И бежала к нему опрометью, и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

А он задира́л свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова.

Наконец, был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом, слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями; выехал и старый работник, получивший тоже повестку.

Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась: не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении:

— Ты вырастешь большой-ой, большой! Будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем! На поденку псйдем!

— Ну-у! — обиделась Варвара. — Какую там еще поденку придумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..

Липа запела тихо, но, немного погодя, забылась и опять:

— Вырастешь больш-ой, большой, мужик будешь, вместе на поденку пойдем!

— Ну-у! Заладила!

Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:

— Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. — Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает.

Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатилa телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то...

— Решение прав и всего состояния, — громко сказал он, — и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.

Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керсина, и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.

— А папаша где? — спросила она, шепелявя.

— На станции, — ответил работник. — «Ужо, говорит, будет потемней, тогда приеду».

И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнице, думая, что этого требует приличие:

— И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьевич, соколиный... ясный...

Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напругая голос:

— Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самовар, уж не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.

Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.

— Психлопстать-те некому... — начала Варвара, когда они остались вдвоем. — Говорила я, чтоб господ попросить, — не послушали тогда... Прощение бы...

— Хлопстал я! — сказал старик и махнул рукой. — Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, говорит, теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал... Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.

Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:

— Должно, нездоров я. В голове того... туманится. Мысли мутятся.

Он затворил дверь, чтобы не слышала Липа, и продолжал тихо:

— С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на фоминской привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатович, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька, как выпьет, то смеется: «Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит.

Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

— Ну, вот, бог с тобой!

— Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.

— Что говорить, все под богом ходим... Ох-тех-те... — проговорила Варвара и покачала головой. — Надо б об этом подумать бы, Петрович... Неровен час, что случится, человек ты не молодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внушка не сбидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая... Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! — продолжала убеждать Варвара. — Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать?

— А я забыл про внушка-то... сказал Цыбукин. — Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну, что ж, пускай растёт. Дай бог!

Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

— Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай, — сказал он. — И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова... — Он перекрестил ребенка. — И внушка береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.

VII.

Старик уезжал не надолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.

— Не стану я больше работать на вас! — крикнула она громко и вдруг зарыдала. — Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, говорят, Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.

Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.

— Не желаю я больше служить! — продолжала она. — Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой — так это мне, а как землю дарить, — так той каторжанке с ее чертенком. Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть

подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды
окаянные!

Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей
и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог
говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно;
и теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там
за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться
с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась
от пчелы.

— Ой, что ж это, батюшки? — бормотала она в ужасе. —
Что ж это она кричит? Ох-тех-те... Народ-то услышит! Потихе
бы... Ой, потихе бы!

— Отдали каторжанке Бутёкино, — продолжала Акси́нья
кричать, — отдайте ей теперь все, — мне от вас ничего не надо!
Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я, будет
с меня! Грабили и прохожих, и проезжих, разбойники, грабили
старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые
деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами — и теперь
уж я не нужна стала!

Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смо-
трела во двор.

— Пускай народ глядит! — кричала Акси́нья. — Я вас
осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах наваляе-
тесь! Эй, Степан! — позвала она глухого. — Поедем в одну минуту
домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу
жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она сры-
вала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на
руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору
около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю
и топтала.

— Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара. — Что же
она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте ради Христа небесного!

— Ну, ба-а-ба! — говорили у ворот. — Вот так ба-а-ба!
Расходилась — страсть!

Акси́нья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Сти-
рала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От
корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и ту-
скло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около
него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор,
так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Акси́нья
вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто,
и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который
стоял на столе...

— Отдай сюда! — проговорила Акси́нья, глядя на нее с не-
навистью, и выхватила из корыта сорочку. — Не твое это дело
мое белье трогать. Ты арестантка и должна знать свое место, кто
ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела...

— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Акси́нья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого слышался крик, какого еще никогда не слышали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Акси́нья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходил по двору, держа в охалке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.

VIII.

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светила от заходившего солнца, и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

— Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении. — Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет... — сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то гда считала кукушка и все сбивалась со счета, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорсжили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали, и не было ни одного огня.

До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

— Бу-у! — кричала выпь. — Бу-у!

И вдруг ясно слышалась человеческая речь:

— Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначались две подводы, — одна с бочкой, другая пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Загорчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

— Слово кто идет по дороге?

— Шарик, молчи! — крикнул другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала:

— Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порвет, дедушка?

— Ничего, иди. Не тронет.

— Я в больнице была, — сказала Липа, помолчав. — Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказал он, обернувшись к спутнику. — Ты бы поживей!

— Твоей дуги нету, — сказал парень. — Не видать.

— Прямой ты Вавила.

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать, — сказал он. — Всякой матери свое дитё жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал, — и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и попрежнему было только поле, небо со звездами, да

шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклеево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился, — сказала Липа. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто же его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

— Мне, дедушка, итти пешком легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

— Ничего... — повторил он. — Твое горе с пол-горя. Жизнь долгая, — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, — если помер, то царство ему небесное, — глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит,

хорошего было больше. А велика матушка Россия! — сказал он, и опять посмотрел в стороны и оглянулся.

— Дедушка, — спросила Липа, — когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

— А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу, — он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! — позвал старик.

— А!

— Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

— Девять дён. Мой дядя Кирилл помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дён.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дён в печке стучало.

— Ну, ладно. Трогай, — сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли: все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

— Эх, Липа, — проговорил он, — не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка.

— И мальчик-то был хорошенечкий... — приговаривала она. — Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая...

Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели много и с такою жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

— Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное.

И только, когда все разошлись, Липа поняла, как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут не при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

— Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. — Замолчи!

Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

— Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

— Ну, ну, ну!.. — засуетился старик. — Аксюта, угомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дитё померло...

— Понятное дело... — передразнила его Аксинья. — Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!.. — передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.

На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.

IX.

В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые, на окнах попрежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле все перешло в руки Аксиньи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получают за это по четвертаку в день.

Аксинья вошла в долю с Хрымиными, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и К^о». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то-и-дело вынимает их из кармана и подносит к уху.

В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:

— Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!

Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:

— Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидаться, чтобы нам никто не помешал?

— Да когда вам угодно!

И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.

Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то застычив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:

— А наш вчера опять лег не евши.

И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевеливается. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как попрежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.

В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаванием; одни рады, другие жалеют.

Варвара еще больше пополнела и побелела, и попрежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съесть до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.

Об Андисиме стали засыпать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа».

Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

— Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением, — а она, невестка-то, выгнала свекра из собственного дома. Старикку ни поесть, ни поить — куда пойдет? Третий день не евши.

— Третий день! — удивился Костыль.

— Вот так сидит, все молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, — ее б в суде не похвалили.

— Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав.

— Чего?

— Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то-есть...

— Из собственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

— Собственный дом, или чужой, все равно, лишь бы тепло было, да бабы не ругались... — сказал Костыль и засмеялся. — Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И бывало все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

— Муж-то глухой, глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля, — так, дурак-дураком, все равно, что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой — и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичем, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

— Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля. — Здравствуй, голубчик!

— Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки! (Костыль всхлипнул.) Топорики мои любезные.

Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали и, когда старик поровнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился, и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

А Р Х И Е Р Е Й.

I.

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские, походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показался преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и — плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор цел, уже не плакали, все было попрежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей сажился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все — и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец, карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало,

и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав, — это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О, господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить, — продолжал келейник, — что придут завтра. С ними девочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

— Который теперь час?

— Двенадцатый в начале.

— Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и — как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном, — о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец

Симеон, кроткий, смиренный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах, ты ослица Иегудиилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная — *Betula kinderbalsamica secuta*. Была у него черная, мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И пресвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополя — село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда пресвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: ежемесячно или поденно?»

Пресвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

— Моя мать приехала... — вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему 70 лет, живет он в монастыре, в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и пресвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

ИМЕНИ

3. Г. БЕЛИНСКИЙ

ГОР. СОВЕТ

В половине второго ударили к заутрени. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

— Отец Сисой! — позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мне, — сказал преосвященный, садясь. — Не здоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О, господи, прости меня грешного!»

— У Еракина нынче электричество зажигали, — сказал он. — Не нравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сторблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

— Не нравится! — повторил он, уходя. — Не нравится, бог с ним совсем!

II.

На другой день, в вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилося на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не видались, — говорила старуха, — а вчера в монастыре как поглядела на вас — господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя не мигая глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то

много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, — рассказывала она, — вот эта Катя самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал это и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— А как Никанор? — спросил преосвященный про своего старшего брата.

— Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

— Николаша мертвецов режет, — сказала Катя и пролила воду себе на колени.

— Сиди, деточка, смирно, — заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. — Кушай с молитвой.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. — Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом слышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно, что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом слышался голос Марии Тимофеевны:

— Значит, богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то-и-дело «чаю напившись», или «напившись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длиннй-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

— А потом что? — спросил Сисой в соседней комнате.

— А потом чай пили... — ответила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

— Господи боже мой, наказание с этой девочкой! — проговорил громко Сисой, рассердившись. — Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

— Эва, — удивился он, — вы уже спите, пресвященнейший?

— Что такое?

— Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

— У меня жар... — проговорил преосвященный и сел. — В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал чатирать ему грудь и спину свечным салом.

— Вот так... вот так... — говорил он. — Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того — как его? — протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не нравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не нравится!

III.

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проводывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о бже. За границей преосвященный, должно быть, ствык от русской жизни, она была не легка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумагаи, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И полсжительно, чет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался пресвященный Петр только, когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла говорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, — с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха-мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему попрежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как долсжили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу.

Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя. — Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению. — Как хорошо!»

IV.

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба, и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисю, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: — «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно

и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни, в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

— Чистое наказание с этой девочкой, господи, прости меня грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

— Ты, Катя? — спросил он. — Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?

— Я не слышу, — ответила Катя и прислушалась.

— Вот сейчас кто-то прошел.

— Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

— Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? — спросил он, помолчав.

— Да. Учится.

— А он добрый?

— Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

— А отец твой от какой болезни умер?

— Папаша были слабые и худые-худые, и вдруг — горло. И я тогда захворала, и брат Федя, — у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

— Ваше преосвященство, — проговорила она тонким голосом, уже горько плача, — дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

— Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нет, благодарю... — ответил он. — Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день — и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, святая не за горами, отдохнете,

бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, — пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сиссой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

— Ваше преосвященство! — окликнул он.

— Что?

— Лошади поданы, пора к страстям господним.

— Который час?

— Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие «Ныне прославился сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставней, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец, отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он. — А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не нравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

— Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

— Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь, — проговорил преосвященный тихо, через силу. — Я ведь тут никого и ничего не знаю...

— До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

— Какой я архиерей? — продолжал тихо преосвященный. — Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...

— Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф! От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!»

Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик, — заговорила она, — родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

— Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! — говорила старуха. — Что с тобой? Родной мой!

— Не беспокойте владыку, — проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. — Пушай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, — одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

1902.

НЕВЕСТА.

I.

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суежилась

бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже 23 года; с 16 лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подайным ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву, в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь, — сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму, — сказала Надя. — Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчав, — но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая... — согласился Саша. — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам на кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама, небось, по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки, — продолжал он. — Чорт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надсело, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего, — сказала она. — Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже сиделись ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в ринсе-пез и с брильянтами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, — все трое говорили о гишнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься, — сказала бабуля, обращаясь к Саше, — только вот кушай побольше. И на что ты

Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом, но вы не обращайтесь внимания; это от волнения. Я очень нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году 13 сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились 13-го числа. Впрочем (*поглядев на часы*), ввиду недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион, то-есть не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано, этак тысяч сорок, или пятьдесят, у меня же ни копейки за душой, ни гроша — ну, да что толковать! В пансионе я состою заведующим хозяйственной частью. Я закупаю провизию, проверяю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, вывожу клопов, прогуливаю женину собачку, ловлю мышей... Вчера вечером на моей обязанности лежало выдать кухарке муку и масло, так как предполагались блины. Ну-с, одним словом, сегодня, когда блины были уже испечены, моя жена пришла на кухню сказать, что три воспитанницы не будут кушать блинов, так как у них распухли железы. Таким образом оказалось, что мы испекли несколько лишних блинов. Куда прикажете девать их? Жена сначала велела отнести их на погреб, а потом подумала, подумала и говорит: — «Ешь эти блины сам, чучело». Она, когда бывает не в духе, зовет меня так: чучело, или аспид, или сатана. А какой я сатана? Она всегда не в духе. И я не съел, а проглотил, не жевавши, так как всегда бываю голоден. Вчера, например, она не дала мне обедать. — «Тебя, говорит, чучело, кормить не для чего...» Но, однако (*смотрит на часы*), мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее прослушали бы теперь романс, или какую-нибудь этакую симфонию, или арию... (*Запевает.*) «Мы не моргнем в пылу сраженья глазом...» Не помню уж, откуда это... Между прочим, я забыл сказать вам, что в музыкальной школе моей жены, кроме заведывания хозяйством, на мне лежит еще преподавание математики, физики, химии, географии, истории, сольфеджио, литературы и прочее. За танцы, пение и рисование жена берет особую плату, хотя танцы и пение преподаю тоже я. Наше музыкальное училище находится в Пятисобачьем переулке, в доме № 13. Вот потому-то, вероятно, и жизнь моя такая неудачная, что живем мы в доме № 13. И дочери мои родились 13-го числа, и в доме у нас 13 окошек... Ну, да что толковать! Для переговоров жену мою можно застать дома во всякое время, а программа школы, если желаете, продается у швейцара по 30 коп. за экземпляр. (*Вынимает из кармана несколько брошюр.*) И вот я, если желаете, могу поделиться. За каждый экземпляр по 30 копеек! Кто желает? (*Пауза.*) Никто не желает? Ну, по 20 копеек! (*Пауза.*) Досадно. Да, дом № 13! Ничто мне не удастся, постарел, подупел... Вот читаю



лекцию, на вид я весел, а самому так и хочется крикнуть во все горло, или полететь куда-нибудь за тридевять земель. И пожаловаться некому, даже плакать хочется... Вы скажете: дочери... Что дочери? Я говорю им, а они только смеются... У моей жены семь дочерей... Нет, виноват, кажется, шесть... *(Живо.)* Семь! Старшей из них Анне 27 лет, младшей 17. Милостивые государи! *(Оглядывается.)* Я несчастлив, я обратился в дурака, в ничтожество, но в сущности вы видите перед собой счастливейшего из отцов. В сущности это так должно быть, и я не смею говорить иначе. Если б вы только знали! Я прожил с женой 33 года и, могу сказать, это были лучшие годы моей жизни, не то чтобы лучшие, а так вообще. Протекли они, одним словом, как один счастливый миг, собственно говоря, чорт бы их побрал совсем. *(Оглядывается.)* Впрочем, она, кажется, еще не пришла, ее здесь нет, и можно говорить все, что угодно... Я ужасно боюсь... боюсь, когда она на меня смотрит. Да, так вот я и говорю: дочери мои не выходят так долго замуж, вероятно, потому, что они застенчивы, и потому, что мужчины их никогда не видят. Вечеров давать жена моя не хочет, на обеды она никого не приглашает, это очень скупая, сердитая, сварливая дама, и потому никто не бывает у нас, но... могу вам сообщить по секрету... *(Приближается к рампе.)* Дочерей моей жены можно видеть по большим праздникам у тетки их Натальи Семеновны, той самой, которая страдает ревматизмом и ходит в таком желтом платье с черными пятнышками, точно вся осыпана тараканами. Там подают и закуски. А когда там не бывает моей жены, то можно и это... *(Щелкает себя по шее.)* Надо вам заметить, пьянею я от одной рюмки, и от этого становится хорошо на душе и в то же время так грустно, что и высказать не могу; вспоминаются почему-то молодые годы, и хочется почему-то бежать, ах если бы вы знали, как хочется! *(С увлечением.)* Бежать, бросить все и бежать без оглядки... куда? Все равно, куда... лишь бы бежать от этой дрянной, пошлой, дешевой жизни, превратившей меня в старого, жалкого дурака, старого, жалкого идиота, бежать от этой глупой, мелкой, злой, злой, злой, скряги, от моей жены, которая мучила меня 33 года, бежать от музыки, от кухни, от жениных денег, от всех этих пустяков и пошлостей... и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять деревом, столбом, огородным пугалом. под широким небом, и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий, ясный месяц, и забыть, забыть... О, как бы я хотел ничего не помнить!.. Как бы я хотел сорвать с себя этот подлый, старый фракшишко, в котором я 30 лет назад венчался... *(Срывает с себя фрак.)* в котором постоянно читаю лекции с благотворительною целью. Вот тебе! *(Топчет фрак.)* Вот тебе! Стар я, беден, жалок, как эта самая жилетка с ее поношенной, облезлой спиной... *(Показывает спину.)* Не нужно мне ничего! Я выше и чище этого, я был когда-то молод, умен, учился в университете, мечтал, считал себя человеком... Теперь не нужно мне ничего! Ничего бы, кроме

покоя... кроме покоя! (Поглядев в сторону, быстро надевает фрак.) Однако, за кулисами стоит жена... Пришла и ждет меня там... (Смотрит на часы.) Уже прошло время... Если спросит она, то пожалуйста, прошу вас, скажите ей, что лекция была... что чучело, то-есть я, держал себя с достоинством. (Смотрит в сторону, откашливается.) Она смотрит сюда... (Возвысив голос.) Исходя из того положения, что табак заключает в себе страшный яд, с которым я только что говорил, курить ни в каком случае не следует, и я позволю себе, некоторым образом, надеяться, что эта моя лекция «о вреде табака» принесет свою пользу. Я все сказал. *Dixi et animam levavi!* (Кланяется и величественно уходит.)

1902.

ИВАНОВ.

Драма в четырех действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иванов, Николай Алексеевич, неперменный член по крестьянским делам присутствия.

Анна Петровна, его жена, урожденная Сарра Абрамсон.

Шабельский, Матвей Семенович, граф, его дядя по матери.

Лебедев, Павел Кириллыч, председатель земской управы.

Зинаида Савишна, его жена.

Саша, дочь Лебедевых, 20 лет.

Львов, Евгений Константинович, молодой земский врач.

Бабакина, Марфа Егоровна, молодая вдова, помещица, дочь богатого купца.

Косых, Дмитрий Никитич, акцизный.

Боркин, Михаил Михайлович, дальний родственник Иванова и управляющий его имением.

Авдотья Назаровна, старуха с неопределенною профессией.

Егорюшка, нахлебник Лебедевых.

1-й гость.

2-й гость.

3-й гость.

4-й гость.

Петр, лакей Иванова.

Гаврила, лакей Лебедевых.

Гости обоего пола, лакеи.

Действие происходит в одном из уездов средней полосы России

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Сад в имении Иванова. Слева фасад дома с террасой. Одно окно открыто. Перед террасой широкая полукруглая площадка, от которой в сад, прямо и вправо, идут аллеи. На правой стороне садовые диванчики и столики. На одном из последних горит лампа. Вечереет. При поднятии занавеса слышно, как в доме разучивают дуэт на рояле и виолончели.

I.

Иванов и Боркин.

Иванов сидит за столом и читает книгу. Боркин в больших сапогах с ружьем показывается в глубине сада; он навеселе; увидев Иванова, на цыпочках идет к нему и, поровнявшись с ним, прицеливается в его лицо.

Иванов (*увидев Боркина, вздрагивает и вскакивает*). Миша, бог знает что... вы меня испугали... Я и так расстроен, а вы еще с глупыми шутками... (*Садится.*) Испугал и радуется...

Б о р к и н *(хохочет)*. Ну, ну... виноват, виноват. *(Садится рядом.)* Не буду больше, не буду... *(Снимает фуражку.)* Жарко. Верите ли, душа моя, в какие-нибудь три часа 17 верст отмахал... замучился... Пощупайте-ка, как у меня сердце бьется...

И в а н о в *(читая)*. Хорошо, после...

Б о р к и н. Нет, вы сейчас пощупайте. *(Берет его руку и прикладывает к груди.)* Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это, значит, у меня порок сердца. Каждую минуту могу скоростижно умереть. Послушайте, вам будет жаль, если я умру?

И в а н о в. Я читаю... после...

Б о р к и н. Нет, серьезно, вам будет жаль, если я вдруг умру? Николай Алексеевич, вам будет жаль, если я умру?

И в а н о в. Не приставайте!

Б о р к и н. Голубчик, скажите: будет жаль?

И в а н о в. Мне жаль, что от вас водкой пахнет. Это, Миша, противно.

Б о р к и н *(смеется)*. Разве пахнет? Удивительное дело... Впрочем, тут нет ничего удивительного. В Плесниках я встретил следователя, и мы, признаться, с ним рюмок по восьми стукнули. В сущности говоря, пить очень вредно. Послушайте, ведь вредно? А? вредно?

И в а н о в. Это, наконец, невыносимо... Поймите, Миша, что это издевательство...

Б о р к и н. Ну, ну... виноват, виноват!.. Бог с вами, сидите себе... *(Встает и идет.)* Удивительный народ, даже и поговорить нельзя. *(Возвращается.)* Ах да! Чуть было не забыл... Пожалуйте 82 рубля!..

И в а н о в. Какие 82 рубля?

Б о р к и н. Завтра рабочим платить.

И в а н о в. У меня нет.

Б о р к и н. Покорнейше благодарю! *(Дразнит.)* У меня нет... Да ведь нужно платить рабочим? Нужно?

И в а н о в. Не знаю. У меня сегодня ничего нет. Подождите до первого числа, когда жалованье получу.

Б о р к и н. Вот и извольте разговаривать с такими субъектами!.. Рабочие придут за деньгами не первого числа, а завтра утром!..

И в а н о в. Так что же мне теперь делать. Ну, режьте меня, пилите... И что у вас за отвратительная манера приставать ко мне именно тогда, когда я читаю, пишу или...

Б о р к и н. Я вас спрашиваю: рабочим нужно платить, или нет? Э, да что с вами говорить!.. *(Машет рукой.)* Помещики тоже, чорт подери, землевладельцы... Рациональное хозяйство... Тысяча десятин земли — и ни гроша в кармане... Винный погреб есть, а штопора нет... Возьму вот и продам завтра тройку! Да-с!.. Овес на корню продал, а завтра возьму и рожь продам. *(Шагает по сцене.)* Вы думаете, я стану церемониться? Да? Ну, нет-с, не на такого напали...

Т е ж е, Ш а б е л ь с к и й (за сценой) и А н н а П е т р о в н а.

Голос Шабельского за окном: «Играть с вами нет никакой возможности... Слуха у вас меньше, чем у фаршированной щуки, а тушѣ возмутительное».

А н н а П е т р о в н а (показывается в открытом окне). Кто здесь сейчас разговаривал? Это вы, Миша? Что вы так шагаете?

Б о р к и н. С вашим Nicolas — voilà еще не так зашагаешь.

А н н а П е т р о в н а. Послушайте, Миша, прикажите принести на крокет сена.

Б о р к и н (машет рукой). Оставьте вы меня, пожалуйста...

А н н а П е т р о в н а. Скажите, какой тон... К вам этот тон совсем не идет. Если хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда при них не сердитесь и не солидничайте... (Мужу). Николай, давайте на сене кувыркаться!..

И в а н о в. Тебе, Аня, вредно стоять у открытого окна. Уйди, пожалуйста... (Кричит.) Дядя, закрой окно! (Окно закрывается.)

Б о р к и н. Не забывайте еще, что через два дня нужно проценты платить Лебедеву.

И в а н о в. Я помню. Сегодня я буду у Лебедева и попрошу его подождать... (Смотрит на часы.)

Б о р к и н. Вы когда туда поедете?

И в а н о в. Сейчас.

Б о р к и н (жисе). Пойдите, пойдите!.. ведь сегодня, кажется, день рождения Шурочки... Те-те-те-те... А я забыл... Вот память, а? (Прыгает.) Поеду, поеду... (Поет.) Поеду... Пойду выкупаюсь, пожую бумаги, приму три капли нашатырного спирта и — хоть сначала начинай... Голубчик, Николай Алексеевич, мамуся моя, ангел души моей, вы все нервничаете, ноете, постоянно в мерлехлюндии, а ведь мы вместе черт знает каких делов могли бы наделать! Для вас я на все готов... Хотите я для вас на Марфушке Бабакиной женюсь? Половина приданого ваша... То-есть не половина, а все берите, все!..

И в а н о в. Будет вам вздор молоть...

Б о р к и н. Нет, серьезно! Хотите, я на Марфушке женюсь? Приданое пополам... Впрочем, зачем я это вам говорю? Разве вы поймете? (Дразнит.) «Будет вздор молоть». Хороший вы человек, умный, но в вас не хватает этой жилки, этого, понимаете ли, взмаха. Этак бы размахнуться, чтобы чертям тошно стало... Вы психопат, нюня, а будь вы нормальный человек, то через год имели бы миллион. Например, будь у меня сейчас 2 300 рублей, я бы через две недели имел 20 тысяч. Не верите? И это, по-вашему, вздор? Нет, не вздор... Вот дайте мне 2 300 рублей, и я через неделю доставлю вам 20 тысяч. На том берегу Овсянов продает по-

И в а н о в. Все это правда, правда... Вероятно, я страшно виноват, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то ленью, и я не в силах понимать себя. Не понимаю ни людей, ни себя... (*Взглядывает на окно.*) Нас могут услышать, пойдемте, пройдемся. (*Встают.*) Я, милый друг, рассказал бы вам с самого начала, но история длинная и такая сложная, что до утра не расскажешь. (*Идут.*) Анята замечательная, необыкновенная женщина... Ради меня она переменила веру, бросила отца и мать, ушла от богатства, и если бы я потребовал еще сотню жертв, она принесла бы их, не моргнув глазом. Ну-с, а я ничем не замечателен и ничем не жертвовал. Впрочем, это длинная история... Вся суть в том, милый доктор (*мнется*), что... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но... прошло пять лет, она все еще любит меня, а я... (*Разводит руками.*) Вы вот говорите мне, что она скоро умрет, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление. Если со стороны поглядеть на меня, то это, вероятно ужасно; сам же я не понимаю, что делается с моею душой... (*Уходят по аллее.*)

IV.

Ш а б е л ь с к и й, потом Анна Петровна.

Ш а б е л ь с к и й (*входит и хохочет*). Честное слово, это не мошенник, а мыслитель, виртуоз! Памятник ему нужно поставить. В себе одном совмещает современный гной во всех видах: и адвоката, и доктора, и кукуевца, и кассира. (*Садится на нижнюю ступень террасы.*) И ведь нигде, кажется, курса не кончил, вот что удивительно... Стало быть, каким был бы гениальным подлецом, если бы еще усвоил культуру, гуманитарные науки! «Вы, — говорит, — через неделю можете иметь 20 тысяч. У вас, — говорит, — еще на руках козырный туз — ваш графский титул. (*Хохочет.*) За вас любая девица пойдет с приданым...»

(*Анна Петровна открывает окно и глядит вниз.*)

Ш а б е л ь с к и й. «Хотите, — говорит, — посватую за вас Марфушу?» Qui est ce que c'est, Марфуша? Ах, это та, Балабалкина... Бабакалкина... эта, что на прачку похожа.

А н н а П е т р о в н а. Это вы, граф?

Ш а б е л ь с к и й. Что такое?

(*Анна Петровна смеется.*)

Ш а б е л ь с к и й (*еврейским акцентом*). Зачиво вы шметесь?

А н н а П е т р о в н а. Я вспомнила одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обедом? Вор прощенный, лошадь... как это?

Ш а б е л ь с к и й. Жид крещеный, вор прощенный, конь леченый — одна цена.

А н н а П е т р о в н а *(смеется)*. Вы даже простого каламбура не можете сказать без злости. Злой вы человек. *(Серьезно.)* Не шутя, граф, вы очень злы. С вами жить скучно и жутко. Всегда вы брюзжите, ворчите, все у вас подлецы и негодяи. Скажите мне, граф, откровенно: говорили вы когда-нибудь о ком хорошо?

Ш а б е л ь с к и й. Это что за экзамен?

А н н а П е т р о в н а. Живем мы с вами под одною крышей уже пять лет, и я ни разу не слыхала, чтобы вы отзывались о людях спокойно, без желчи и без смеха. Что вам люди сделали худого? И неужели вы думаете, что вы лучше всех?

Ш а б е л ь с к и й. Вовсе я этого не думаю. Я такой же мерзавец и свинья в ермолке, как все. Моветон и старый башмак. Я всегда себя браню. Кто я? Что я? Был богат, свободен, немного счастлив, а теперь... нахлебник, приживалка, обезличенный шут. Я негодую, презираю, а мне в ответ смеются; я смеюсь, на меня печально кивают головой и говорят: спятил старик... А чаще всего меня не слышат и не замечают...

А н н а П е т р о в н а *(покойно)*. Опять кричит...

Ш а б е л ь с к и й. Кто кричит?

А н н а П е т р о в н а. Сова. Каждый вечер кричит.

Ш а б е л ь с к и й. Пусть кричит. Хуже того, что уже есть, не может быть. *(Потягивается.)* Эх, милейшая Сарра, выиграй я сто или двести тысяч, показал бы я вам, где раки зимуют!.. Только бы вы меня и видели. Ушел бы я из этой ямы, от даровых хлебов, и ни ногой бы сюда до самого страшного суда...

А н н а П е т р о в н а. А что бы вы сделали, если бы вы выиграли?

Ш а б е л ь с к и й *(подумав)*. Я прежде всего поехал бы в Москву и цыган послушал. Потом... потом махнул бы в Париж. Нанял бы себе там квартиру, ходил бы в русскую церковь...

А н н а П е т р о в н а. А еще что?

Ш а б е л ь с к и й. По целым дням сидел бы на жениной могиле и думал. Так бы я и сидел на могиле, пока не окошел. Жена в Париже похоронена... *(Пауза.)*

А н н а П е т р о в н а. Ужасно скучно. Сыграть нам дуэт еще, что ли?

Ш а б е л ь с к и й. Хорошо, приготовьте ноты.

V.

Ш а б е л ь с к и й, И в а н о в и Л ь в о в.

И в а н о в *(показывается на аллее со Львовым)*. Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею право вам советовать. Не женитесь

вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Да хранит вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее. А жизнь, которую я пережил, — как она утомительна! Ах, как утомительна!.. Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого! (*Увидев графа, раздраженно.*) Всегда ты, дядя, перед глазами вертишься, не даешь поговорить наедине!

Ш а б е л ь с к и й (*плачущим голосом*). А чорт меня возьми, нигде приюта нет! (*Вскакивает и идет в дом.*)

И в а н о в (*кричит ему вслед*). Ну, виноват, виноват! (*Львову.*) За что я его обидел? Нет, я решительно развинтился. Надо будет с собою что-нибудь сделать. Надо...

Л ь в о в (*волнуясь*). Николай Алексеевич, я выслушал вас и... и, простите, буду говорить прямо, без обиняков. В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уж о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия... Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, дни его сочтены, а вы... вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться... Не могу я вам высказать, нет у меня дара слова, но... но вы мне глубоко не симпатичны!..

И в а н о в. Может быть, может быть... Вам со стороны виднее... Очень возможно, что вы меня понимаете... Вероятно, я очень, очень виноват... (*Прислушивается.*) Кажется, лошадей подали. Пойду одеваться... (*Идет к дому и останавливается.*) Вы, доктор, не любите меня и не скрываете этого. Это делает честь вашему сердцу...

(*Уходит в дом.*)

Л ь в о в (*один*). Проклятый характер... Опять упустил случай и не поговорил с ним, как следует... Не могу говорить с ним хладнокровно! Едва раскрою рот и скажу одно слово, как у меня вот тут (*показывает на грудь*) начинает душить, переворачиваться, и язык прилипает к горлу. Ненавижу этого Тартюфа, возвышенного мошенника, всею душой... Вот уезжает... У несчастной жены все счастье в том, чтобы он был возле нее, она дышит им, умоляет его провести с нею хоть один вечер, а он... он не может... Ему, видите ли, дома душно и тесно. Если он хоть один вечер проведет дома, то с тоски пулю себе пустит в лоб. Бедный... ему нужен простор, чтобы затеять какую-нибудь новую подлость.. О, я знаю, зачем ты каждый вечер едешь к этим Лебедевым! Знаю!

Львов, Иванов (в шляпе и пальто), Шабельский и Анна Петровна.

Шабельский (выходя с Ивановым и с Анной Петровной из дому). Наконец, Nicolas, это бесчеловечно!.. Сам уезжаешь каждый вечер, а мы остаемся одни. От скуки ложимся спать в 8 часов. Это безобразие, а не жизнь! И почему это тебе можно ездить, а нам нельзя? Почему?

Анна Петровна. Граф, оставьте его! Пусть едет, пусть...

Иванов (жене). Ну, куда ты, больная, поедешь? Ты больна и тебе нельзя после заката солнца быть на воздухе... Спроси вот доктора. Ты не дитя, Анюта, нужно рассуждать... (Графу.) А тебе зачем туда ехать?

Шабельский. Хоть к чорту в пекло, хоть к крокодилу в зубы, только чтоб не здесь оставаться. Мне скучно! Я отупел от скуки! Я надоел всем. Ты оставляешь меня дома, чтобы ей не было одной скучно, а я ее загрыз, заел!

Анна Петровна. Оставьте его, граф, оставьте! Пусть едет, если ему там весело.

Иванов. Аня, к чему этот тон? Ты знаешь, я не за весельем туда еду! Мне нужно поговорить о векселе.

Анна Петровна. Не понимаю, зачем ты оправдываешься? Поезжай! Кто тебя держит?

Иванов. Господа, не будемте есть друг друга! Неужели это так необходимо?!

Шабельский (плачущим голосом). Nicolas, голубчик, ну, я прошу тебя, возьми меня с собою! Я погляжу там мошенников и дураков, и, может-быть, развлекусь. Ведь я с самой Пасхи нигде не был!

Иванов (раздраженно). Хорошо, поедem! Как вы мне все надоели!

Шабельский. Да? Ну, merci, merci... (Весело берет его под руку и отводит в сторону.) Твою соломенную шляпу можно надеть?

Иванов. Можно, только поскорей, пожалуйста!

(Граф бежит в дом.)

Иванов. Как вы все надоели мне! Впрочем, господа, что я говорю? Аня, я говорю с тобою невозможным тоном. Никогда этого со мною раньше не было. Ну, прощай, Аня, я вернусь к часу.

Анна Петровна. Коля, милый мой, останься дома!

Иванов (волнуясь). Голубушка моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мешай мне уезжать по вечерам из дому. Это жестоко, несправедливо с моей стороны, но позволяй мне делать эту несправедливость! Дома мне мучительно-тяжело!

Как только прячется солнце, душу мою начинает давить тоска. Какая тоска! Не спрашивай, отчего это. Я сам не знаю. Клянусь, не знаю! Здесь тоска, а поедешь к Лебедевым, там еще хуже; вернешься оттуда, а здесь опять тоска, и так всю ночь... Просто отчаяние!..

А н н а П е т р о в н а. Коля... а то остался бы! Будем, как прежде, разговаривать... Поужинаем вместе, будем читать... Я и брюзга разучили для тебя много дуэтов... *(Обнимает его.)* Остайся!.. *(Пауза.)* Я тебя не понимаю. Это уж целый год продолжается. Отчего ты изменился?

И в а н о в. Не знаю, не знаю...

А н н а П е т р о в н а. А почему ты не хочешь, чтобы я уезжала вместе с тобою по вечерам?

И в а н о в. Если тебе нужно, то, пожалуй, скажу. Немножко жестоко это говорить, но лучше сказать... Когда меня мучает тоска, я... я начинаю тебя не любить. Я и от тебя бегу в это время. Одним словом, мне нужно уезжать из дому.

А н н а П е т р о в н а. Тоска? понимаю, понимаю... Знаешь что, Коля? Ты попробуй, как прежде, петь, смеяться, сердиться. Остайся, будем смеяться, пить наливку, и твою тоску разгоним в одну минуту. Хочешь, я буду петь? Или пойдем, сядем у тебя в кабинете, в потемках, как прежде, и ты мне про свою тоску расскажешь... У тебя такие страдальческие глаза! Я буду глядеть в них и плакать, и нам обоим станет легче... *(Смеется и плачет.)* Или, Коля, как? Цветы повторяются каждую весну, а радости — нет? Да? Ну, поезжай, поезжай...

И в а н о в. Ты помолись за меня богу, Аня! *(Идет, оставившись и думает.)* Нет, не могу! *(Уходит.)*

А н н а П е т р о в н а. Поезжай... *(Садится у стола.)*

Л ь в о в *(ходит по сцене)*. Анна Петровна, возьмите себе за правило: как только бьет шесть часов, вы должны идти в комнаты и не выходить до самого утра. Вечерняя сырость вредна вам.

А н н а П е т р о в н а. Слушаю-с

Л ь в о в. Что «слушаю-с»! Я говорю серьезно.

А н н а П е т р о в н а. А я не хочу быть серьезною. *(Кашляет.)*

Л ь в о в. Вот видите, — вы уже кашляете...

VII.

Л ь в о в, А н н а П е т р о в н а и Ш а б е л ь с к и й.

Ш а б е л ь с к и й *(в шляпе и пальто выходит из дому)*. А где Николай? Лошадей подали? *(Быстро идет и целует руку Анне Петровне.)* Покойной ночи, прелесть! *(Гримасничает.)* Гевалт! Жвините, пожалуста! *(Быстро уходит.)*

Л ь в о в. Шут!

(Пауза; слышны далекие звуки гармоники.)

А н н а П е т р о в н а. Какая скука!.. Вон кучера и кухарки задают себе бал, а я... я — как брошенная... Евгений Константинович, где вы там шагаете? Идите сюда сядьте!..

Л ь в о в. Не могу я сидеть *(Пауза.)*

А н н а П е т р о в н а. На кухне «чижика» играют. *(Поет.)* «Чижик, чижик, где ты был? Под горою водку пил» *(Пауза.)* Доктор, у вас есть отец и мать?

Л ь в о в. Отец умер, а мать есть.

А н н а П е т р о в н а. Вы скучаете по матери?

Л ь в о в. Мне некогда скучать.

А н н а П е т р о в н а *(смеется)*. Цветы повторяются каждую весну, а радости — нет. Кто мне сказал эту фразу? Дай бог память... Кажется, сам Николай сказал. *(Прислушивается.)* Опять сова кричит!

Л ь в о в. Ну, и пусть кричит.

А н н а П е т р о в н а. Я, доктор, начинаю думать, что судьба меня обсчитала. Множество людей, которые, может-быть, и не лучше меня, бывают счастливы и ничего не платят за свое счастье. Я же за все платила, решительно за все!.. И как дорого! За что брать с меня такие ужасные проценты?.. Душа моя, вы все осторожны со мною, деликатничаете, боитесь сказать правду, но думаете, я не знаю, какая у меня болезнь? Отлично знаю. Впрочем, скучно об этом говорить... *(Еврейским акцентом.)* Жвините, пожалуйста! Вы умеете рассказывать смешные анекдоты?

Л ь в о в. Не умею.

А н н а П е т р о в н а. А Николай умеет. И начинаю я также удивляться несправедливости людей: почему на любовь не отвечают любовью и за правду платят ложью? Скажите: до каких пор будут ненавидеть меня отец и мать? Они живут за 50 верст отсюда, а я день и ночь, даже во сне, чувствую их ненависть. А как прикажете понимать тоску Николая? Он говорит, что не любит меня только по вечерам, когда его гнетет тоска. Это я понимаю и допускаю, но представьте, что он разлюбил меня совершенно! Конечно, это невозможно, ну — а вдруг? Нет, нет, об этом и думать даже не надо. *(Поет.)* «Чижик, чижик, где ты был?...» *(Вздрагивает.)* Какие у меня страшные мысли!.. Вы, доктор, не семейный и не можете понять многого...

Л ь в о в. Вы удивляетесь... *(Садится рядом.)* Нет, я... я удивляюсь, удивляюсь вам! Ну, объясните, растолкуйте мне, как это вы, умная, честная, почти святая, позволили так нагло обмануть себя и затащить вас в это совиное гнездо? Зачем вы здесь? Что общего у вас с этим холодным, бездушным... но оставим вашего мужа! — что у вас общего с этою пустою, пошлою средой? О, господи, боже мой!.. Этот вечно брюзжащий, заржавленный, сумасшедший граф, этот пройдоха, мошенник из мошенников, Миша, со своею гнусною физиономией... Объясните же мне, к чему вы здесь? Как вы сюда попали?..

А н н а П е т р о в н а *(смеется)*. Вот точно так же и он когда-то говорил... Точь-в-точь... Но у него глаза больше, и, бывало, как он начнет говорить о чем-нибудь горячо, так они как угли... Говорите, говорите!..

Л ь в о в *(встает и машет рукой)*. Что мне говорить? Идите в комнаты...

А н н а П е т р о в н а. Вы говорите, что Николай то да сё, пятое, десятое. Откуда вы его знаете? Разве за полгода можно узнать человека? Это, доктор, замечательный человек, и я жалею, что вы не знали его года два-три тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде... Какая прелесть!.. Я полюбила его с первого взгляда. *(Смеется.)* Взглянула, а меня мышеловка хлоп! Он сказал: пойдём... Я отрезала от себя все, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла... *(Пауза.)* А теперь не то... Теперь он едет к Лебедевым, чтобы развлечься с другими женщинами, а я... сижу в саду и слушаю, как сова кричит... *(Стук сторожа.)* Доктор, а братьев у вас нет?

Л ь в о в. Нет.

(Анна Петровна рыдает.)

Л ь в о в. Ну, что еще? Что вам?

А н н а П е т р о в н а *(встает)*. Я не могу, доктор, я поеду туда...

Л ь в о в. Куда это?

А н н а П е т р о в н а. Туда, где он... Я поеду... Прикажете заложить лошадей. *(Бежит в дом.)*

Л ь в о в. Нет, я решительно отказываюсь лечить при таких условиях! Мало того, что ни копейки не платят, но еще душу выворачивают вверх дном!.. Нет, я отказываюсь! Довольно!.. *(Идет в дом.)*

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Зал в доме Лебедевых; прямо выход в сад; направо и налево двери. Старинная, дорогая мебель. Люстра, канделябры и картины — все это в чехлах.

I.

Зинаида Савишна, Косых, Авдотья Назаровна, Егорушка, Гаврила, горничная, старухи-гости, барышни и Бабакина.

Зинаида Савишна сидит на диване. По обе стороны ее на креслах старухи-гости; на стульях молодежь. В глубине, около выхода в сад, играют в карты; между играющими: Косых, Авдотья Назаровна и Егорушка. Гаврила стоит у правой двери; горничная разносит на подносе лакомства. Из сада в правую дверь и обратно в продолжение всего действия циркулируют гости. Бабакина выходит из правой двери и направляется к Зинаиде Савишне.

Зинаида Савишна (радостно). Душечка, Марфа Егоровна...

Бабакина. Здравствуйте, Зинаида Савишна! Честь имею вас поздравить с новорожденною... (Целуются.) Дай бог, чтоб...

Зинаида Савишна. Благодарю вас, душечка, я так рада.. Ну, как ваше здоровье?..

Бабакина. Очень вами благодарна. (Садится рядом на диван.) Здравствуйте, молодые люди!..

(Гости встают и кланяются.)

1-й гость (смеется). Молодые люди... а вы разве старая?

Бабакина (вздыхая). Где уж нам в молодые лезть...

1-й гость (почтительно смеясь). Помилуйте, что вы... Одно только звание, что вдова, а вы любой девице можете десять очков вперед дать.

(Гаврила подносит Бабакиной чай.)

Зинаида Савишна (Гавриле). Что же ты так подаешь? Принес бы какого-нибудь варенья. Кружовенного, что ли...

Бабакина. Не беспокойтесь, очень вами благодарна.

(Пауза.)

1-й гость. Вы, Марфа Егоровна, через Мушкино ехали?..

Бабакина. Нет, на Займище. Тут дорога лучше.

1-й гость. Так-с.

Косых. Два пики.

Егорушка. Пас.

Авдотья Назаровна. Пас.

2-й гость. Пас.

Бабакина. Выигрышные билеты, душечка Зинаида Савишна, опять пошли шибко в гору. Видано ли дело: первый заем стоит уж 270, а второй без малого 250... Никогда этого не было...

Зинаида Савишна (вздыхает). Хорошо, у кого их много...

Бабакина. Не скажите, душечка; хоть они и в большой цене, а держать в них капитал невыгодно. Одна страховка сживет со света.

Зинаида Савишна. Так-то так, а все-таки, моя милая, надеешься... (Вздыхает.) Бог милостив...

3-й гость. С моей точки зрения, mesdames, я так рассуждаю, что в настоящее время иметь капитал очень невыгодно. Процентные бумаги дают весьма немного дивиденда, а пускать деньги в оборот чрезвычайно опасно. Я так понимаю, mesdames, что человек, который в настоящее время имеет капитал, находится более в критическом положении, чем тот, mesdames, который...

Бабакина (вздыхает). Это верно!

(1-й гость зевает.)

Б а б а к и н а. А разве можно при дамах зевать?

1-й г о с т ь. Pardon, mesdames, это я нечаянно.

(Зинаида Савишна встает и уходит в прасую дверь; продолжительное молчание.)

Е г о р у ш к а. Два бубны.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Пас.

2-й г о с т ь. Пас.

К о с ы х. Пас.

Б а б а к и н а (с сторону). Господи, какая скука, помереть можно!

II.

Т е ж е, З и н а и д а С а в и ш н а и Л е б е д е в.

З и н а и д а С а в и ш н а (выходя из правой двери с Лебедевым, тихо). Что уселся там? Примадонна какая! Сиди с гостями! (Садится на прежнее место.)

Л е б е д е в (зевает). Ох, грехи наши тяжкие! (Увидев Бабакину.) Батюшки, мармелад сидит! Рахат-лукум!.. (Здоровается.) Как ваше драгоценнейшее?..

Б а б а к и н а. Очень вами благодарна.

Л е б е д е в. Ну, слава богу!.. Слава богу! (Садится в кресло.) Так, так... Гаврила!

(Гаврила подносит ему рюмку водки и стакан воды; он выпивает водку и запивает водой.)

1-й г о с т ь. На доброе здоровье!..

Л е б е д е в. Какое уж тут доброе здоровье!.. Околеванца нет, и на том спасибо. (Жене.) Зюзюшка, а где же наша новорожденная?

К о с ы х (плаксиво.) Скажите мне: ну, за что мы остались без взятки? (Вскакивает.) Ну, за что мы проиграли, чорт меня подери совсем?

А в д о т ь я Н а з а р о в н а (вскакивает и сердито). А за то, что если ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись. Какое ты имеешь полное право ходить в чужую масть? Вот и остался у тебя 마리нованный туз!.. (Оба бегут из-за стола вперед.)

К о с ы х (плачущим голосом). Позвольте, господа... У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь, туз пик и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка, а она, чорт знает, не могла объявить маленький шлем!.. Я сказал без козыря...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а (перебивая). Это я сказала без козыря! Ты сказал: два без козыря...

К о с ы х. Это возмутительно!.. Позвольте... у вас... у меня... у вас... (Лебедеву.) Да вы посудите, Павел Кириллыч... У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь...

Л е б е д е в *(затыкает уши)*. Отстань, сделай милость... отстань...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а *(кричит)*. Это я сказала без козыря!

К о с ы х *(свирепо)*. Будь я подлец и анафема, если я сяду еще когда-нибудь играть с этою севрюгой! *(Быстро уходит в сад.)*

(2-й гость уходит за ним, за столом остается Егорушка.)

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Уф!.. Даже в жар от него бросило... Севрюга!.. Сам ты севрюга!..

Б а б а к и н а. Да и вы, бабушка, сердитая...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а *(увидев Бабакину, всплескивает руками)*. Ясочка моя, красавица!.. Она здесь, а я, куриная слепота, и не вижу... Голубочка... *(Целует ее в плечо и садится рядом.)* Вот радость! Дай же я на тебя погляжу, лебедь белая! Тфу, тфу, тфу... чтоб не сглазить!..

Л е б е д е в. Ну, распелась... Жениха бы ей лучше подыскала...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. И найду! В гроб, грешница, не лягу, а ее да Саничку замуж выдам!.. В гроб не лягу... *(Вздох.)* Только вот, где их найдешь нынче, женихов-то? Вон они, наши женихи-то, сидят нахохлившись, словно петухи мокрые!..

3-й г о с т ь. Весьма неудачное сравнение. С моей точки зрения, mesdames, если теперешние молодые люди предпочитают холостую жизнь, то в этом виноваты, так сказать, социальные условия...

Л е б е д е в. Ну, ну!.. не философствуй!.. не люблю!..

III.

Т е ж е и С а ш а.

С а ш а *(входит и идет к отцу)*. Такая великолепная погода, а вы сидите здесь, господа, в духоте.

З и н а и д а С а в и ш н а. Сашенька, разве ты не видишь, что у нас Марфа Егоровна?

С а ш а. Виновата. *(Идет к Бабакиной и здоровается.)*

Б а б а к и н а. Загорделась, Саничка, загорделась, хоть бы разок приехала. *(Целуется.)* Поздравляю, душечка...

С а ш а. Благодарю. *(Садится рядом с отцом.)*

Л е б е д е в. Да, Авдотья Назаровна, трудно теперь с женихами. Не то, что жениха — путевых шаферов достать негде. Нынешняя молодежь, не в обиду будь сказано, какая-то, господь с нею, кислая, переваренная... Ни поплясать, ни поговорить, ни выпить толком...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Ну, пить-то они все мастера, только дай...

Л е б е д е в. Не велика штука пить, — пить и лошадь умеет... Нет, ты с толком выпей!.. В наше время, бывало, день-

денской с лекциями бьешься, а как только настал вечер, идешь прямо куда-нибудь на огонь и до самой зари волчком вертишься... И пляшешь, и барышень забавляешь, и эта штука. (*Щелкает себя по шее.*) Бывало, и брешешь, и философствуешь, пока язык не отнимется... А нынешние... (*Машет рукой.*) Не понимаю... Ни богу свечка, ни чорту кочерга. Во всем уезде есть только один путевый малый, да и тот женат (*вдыхает*) и, кажется, уж беситься стал...

Б а б а к и н а. Кто это?

Л е б е д е в. Николаша Иванов.

Б а б а к и н а. Да, он хороший мужчина (*делает гримасу*), только несчастный!..

З и н а и д а С а в и ш н а. Еще бы, душечка, быть ему счастливым! (*Вдыхает.*) Как он, бедный, ошибся!.. Женился на своей жидовке и так, бедный, рассчитывал, что отец и мать за нею золотые горы дадут, а вышло совсем напротив... С того времени, как она переменила веру, отец и мать знать ее не хотят, проклинали... Так ни копейки и не получил. Теперь кается, да уж поздно...

С а ш а. Мама, это неправда.

Б а б а к и н а (*горячо*). Шурочка, как же неправда? Ведь это все знают. Ежели бы не было интереса, то зачем бы ему на еврейке жениться? Разве русских мало? Ошибся, душечка, ошибся... (*Живо.*) Господи, да и достается же теперь ей от него! Просто смех один. Придет откуда-нибудь домой и сейчас к ней: «Твой отец и мать меня надули! Пошла вон из моего дома!» А куда ей итти? Отец и мать не примут; пошла бы в горничные, да работать не приучена... Уж он мудрует-мудрует над нею, пока граф не вступится. Не будь графа, давно бы ее со света сжил...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. А то, бывает, запрет ее в погреб и — «Ешь, такая-сякая, чеснок»... Ест-ест, покуда из души переть не начнет.

(*Смех.*)

С а ш а. Папа, ведь это ложь!

Л е б е д е в. Ну, так что же? Пусть себе мелют на здоровье... (*Кричит.*) Гаврила!..

(*Гаврила подает ему водку и воду.*)

З и н а и д а С а в и ш н а. Оттого вот и разорился, бедный. Дела, душечка, совсем упали... Если бы Боркин не глядел за хозяйством, так ему бы с жидовкой есть нечего было. (*Вдыхает.*) А как мы-то, душечка, из-за него пострадали!.. Так пострадали, что один только бог видит! Верите ли, милая, уж три года, как он нам девять тысяч должен!

Б а б а к и н а (*с ужасом*). Девять тысяч!..

З и н а и д а С а в и ш н а. Да... это мой милый Пашенька распорядился дать ему. Не разбирает, кому можно дать, кому нельзя. Про капитал я уже не говорю, — бог с ним, но лишь бы проценты исправно платил!..

С а ш а (горячо). Мама, об этом вы говорили уже тысячу раз!

З и н а и д а С а в и ш н а. Тебе-то что? Что ты заступаешься?

С а ш а (встает). Но как у вас хватает духа говорить все это про человека, который не сделал вам никакого зла? Ну, что он вам сделал?

3-й г о с т ь. Александра Павловна, позвольте мне сказать два слова! Я уважаю Николая Алексеича и всегда считал за честь, но, говоря *entre nous*, он мне кажется авантюристом.

С а ш а. И поздравляю, если вам так кажется.

3-й г о с т ь. В доказательство приведу вам следующий факт, который передавал мне его атташе, или, так сказать, чичероне Боркин. Два года тому назад, во время скотской эпизоотии, он накупил скота, застраховал его...

З и н а и д а С а в и ш н а. Да, да, да! Я помню этот случай. Мне тоже говорили.

3-й г о с т ь. Застраховал его, можете иметь в виду, пестом заразил чумой и взял страховую премию.

С а ш а. Ах, да вздор все это! Вздор! Никто не покупал и не заражал скота! Это сам Боркин сочинил такой проект и везде хвастался им. Когда Иванов узнал об этом, то Боркин потом у него две недели прощения просил. Виноват же Иванов только, что у него слабый характер и не хватает духа прогнать от себя этого Боркина, и виноват, что он слишком верит людям! Все, что у него было, растащили, расхитили; около его великодушных затей наживался всякий, кто только хотел.

Л е б е д е в. Шура-горячка! Будет тебе!

С а ш а. Зачем же они говорят вздор? Ах, да все это скучно и скучно! Иванов, Иванов, Иванов — и больше нет других разговоров. (Идет к двери и возвращается.) Удивляюсь! (Молодым людям.) Положительно удивляюсь вашему терпению, господа! Неужели вам не скучно так сидеть? Ведь воздух застыл от тоски! Говорите же что-нибудь, забавляйте барышень, шевелитесь! Ну, если у вас нет других сюжетов, кроме Иванова, то смейтесь, пойте, пляшите, что ли...

Л е б е д е в (смеется). Пробери-ка, пробери их хорошенько!

С а ш а. Ну, послушайте, сделайте мне такое одолжение! Если не хотите плясать, смеяться, петь, если все это скучно, то, прошу вас, умоляю, хоть раз в жизни, для курьеза, чтобы удивить или насмешить, соберите силы и все разом придумайте что-нибудь остроумное, блестящее, скажите даже хоть дерзость или пошлость, но чтоб было смешно и ново! Или все разом совершите что-нибудь маленькое, чуть заметное, но хоть немножко похожее на подвиг, чтобы барышни хоть раз в жизни, глядя на вас, могли бы сказать: «Ах!» Послушайте, ведь вы желаете нравиться, но почему же вы не стараетесь нравиться? Ах, господа!

Все вы не то, не то, не то!.. На вас глядя, мухи мрут и лампы начинают коптеть. Не то, не то!.. Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что все вы не то, не то, не то!..

IV.

Т е ж е, И в а н о в и Ш а б е л ь с к и й.

Ш а б е л ь с к и й *(выходя с Ивановым из правой двери)*. Кто это здесь декламирует? Вы, Шурочка? *(Хохочет и пожимает ей руку.)* Поздравляю, ангел мой, дай вам бог попозже умереть и не рождаться во второй раз...

З и н а и д а С а в и ш н а *(радостно)*. Николай Алексеевич, граф!..

Л е б е д е в. Ба! Кого вижу... граф! *(Идет навстречу.)*

Ш а б е л ь с к и й *(увидав Зинаиду Савишну и Бабакину, протягивает в сторону их руки)*. Два банка на одном диване!.. Глядеть любо! *(Здоровается; Зинаиде Савишине.)* Здравствуйте, Зюзюшка! *(Бабакиной.)* Здравствуйте, помпончик!..

З и н а и д а С а в и ш н а. Я так рада. Вы, граф, у нас такой редкий гость! *(Кричит.)* Гаврила, чаю! Садитесь, пожалуйста! *(Встает, уходит в правую дверь и тотчас же возвращается; вид крайне озабоченный. Саша садится на прежнее место. Иванов молча здоровается со всеми.)*

Л е б е д е в *(Шабельскому)*. Откуда ты взялся? Какие это силы тебя принесли? Вот сюрприз! *(Целует его.)* Граф, ведь ты разбойник! Так не делают порядочные люди! *(Ведет его за руку к рампе.)* Отчего ты у нас не бываешь? Сердит, что ли?

Ш а б е л ь с к и й. На чем же я могу к тебе ездить? Верхом на палке? Своих лошадей у меня нет, а Николай не берет с собою, велит с Саррой сидеть, чтоб та не скучала. Присылай за мною своих лошадей, тогда и буду ездить...

Л е б е д е в *(машет рукой)*. Ну, да!.. Зюзюшка скорее треснет, чем даст лошадей. Голубчик ты мой, милый, ведь ты для меня дороже и роднее всех! Из всего старья уцелели я да ты! Люблю в тебе я прежние страдания и молодость погибшую мою... Шутки шутками, а я вот почти плачу. *(Целует графа.)*

Ш а б е л ь с к и й. Пусти, пусти! От тебя, как из винного погреба...

Л е б е д е в. Душа моя, ты не можешь себе представить, как мне скучно без моих друзей! Вешаться готов с тоски... *(Тихо.)* Зюзюшка со своею ссудною кассой разогнала всех порядочных людей, и остались, как видишь, одни только зулусы... эти Дудкины, Будкины... Ну, кушай чай...

(Гаврила подносит чай.)

З и н а и д а С а в и ш н а *(озабоченно Гавриле)*. Ну, как же ты подаешь? Причес бы какого-нибудь варенья... Кружовенного, что ли...

Шабельский (хохочет; Иванову). Что, не говорил я тебе? (Лебедеву.) Я с ним пари дорогой держал, что, как приедем, Зюзюшка сейчас же начнет угощать нас кружовенным вареньем...

Зинаида Савишна. Вы, граф, все такой же насмешник... (Садится.)

Лебедев. Двадцать бочек его наварили, так куда же его девать?

Шабельский (саясь около стола). Вы копите, Зюзюшка? Ну, что уж миллиончик есть, а?

Зинаида Савишна (со вздохом). Да, со стороны поглядеть, так богаче нас и людей нет, а откуда быть деньгам? Один разговор только...

Шабельский. Ну, да, да!.. знаем!.. Знаем, как вы плохо в шашки играете... (Лебедеву.) Паша, скажи по совести: скопили миллион?

Лебедев. Не знаю. Это у Зюзюшки спроси...

Шабельский (Бабакиной). И у жирненького помпончика скоро будет миллиончик! Хорошеет и полнеет не по дням, а по часам! Что значит деньжищ много...

Бабакина. Очень вами благодарна, ваше сиятельство, а только я не люблю насмешек.

Шабельский. Милый мой банк, да разве это насмешки? Это просто вопль души, от избытка чувств глаголят уста... Вас и Зюзюшку я люблю бесконечно... (Весело.) Восторг!.. Упоение!.. Вас обеих не могу видеть равнодушно...

Зинаида Савишна. Вы все такой же, как и были. (Егорушке.) Егорушка, потуши свечи! Зачем им гореть попусту, если не играете? (Егорушка вздрагивает; тушит свечи и садится; Иванову.) Николай Алексеевич, как здоровье вашей супруги?

Иванов. Плохо. Сегодня доктор положительно сказал, что у нее чахотка...

Зинаида Савишна. Неужели? Какая жалость!.. (Вздых.) А мы все ее так любим...

Шабельский. Вздор, вздор и вздор!.. Никакой чахотки нет, докторское шарлатанство, фокус. Хочется эскулапу шлаться, вот и выдумал чахотку. Благо муж не ревнив (Иванов делает нетерпеливое движение.) Что касается самой Сарры, то я не верю ни одному ее слову, ни одному движению. В своей жизни я никогда не верил ни докторам, ни адвокатам, ни женщинам. Вздор, вздор, шарлатанство и фокусы!

Лебедев (Шабельскому). Удивительный ты субъект, Матвей!.. Напустил на себя какую-то мизантропию и носится с нею, как дурак с писаною торбой. Человек как человек, а заговоришь, так точно у тебя типун на языке или сплошной катарр...

Шабельский. Что же мне целоваться с мошенниками и подлецами, что ли?

Лебедев. Где же ты видишь мошенников и подлецов?

Ш а б е л ь с к и й. Я, конечно, не говорю о присутствующих, но...

Л е б е д е в. Вот тебе и но... Все это напускное.

Ш а б е л ь с к и й. Напускное... Хорошо, что у тебя никакого мировоззрения нет.

Л е б е д е в. Какое мое мировоззрение? Сижу и каждую минуту околеванца жду. Вот мое мировоззрение. Нам, брат, не время с тобою о мировоззрениях думать. Так-то... *(Кричит.)* Гаврила!

Ш а б е л ь с к и й. Ты уж и так нагаврился... Погляди, как нос насандалил!

Л е б е д е в *(пьет)*. Ничего, душа моя... не венчаться мне ехать.

З и н а и д а С а в и ш н а. Давно уже у нас доктор Львов не был. Совсем забыл.

С а ш а. Моя антипатия. Ходячая честность. Воды не попросит, папиросы не закурит без того, чтобы не показать своей необыкновенной честности. Ходит или говорит, а у самого на лбу написано: я честный человек! Скучно с ним.

Ш а б е л ь с к и й. Узкий, прямолинейный лекарь! *(Дразнит.)* «Дорогу честному труду!» Орет на каждом шагу, как попугай, и думает, что в самом деле второй Добролюбов. Кто не орет, тот подлец. Взгляды удивительные по своей глубине. Если мужик зажиточный и живет по-человечески, то, значит, подлец и кулак. Я хожу в бархатном пиджаке и одеваает меня лакей — я подлец и крепостник. Так честен, так честен, что всего распирает от честности. Места себе не находит. Я даже боюсь его... Ей-ей!.. Того и гляди, что из чувства долга по рылу хватит или подлеча пустит.

И в а н о в. Он меня ужасно утомил, но все-таки мне симпатичен; в нем много искренности.

Ш а б е л ь с к и й. Хороша искренность! Подходит вчера ко мне вечером и ни с того, ни с сего: «Вы, граф, мне глубоко несимпатичны!» Покорнейше благодарю! И все это не просто, а с тенденцией: и голос дрожит, и глаза горят, и поджилки трясутся... Чорт бы побрал эту деревянную искренность! Ну, я противен ему, гадок, это естественно... я и сам сознаю, но к чему говорить это в лицо? Я дрянной человек, но ведь у меня, как бы то ни было, седые волосы... Бездарная, безжалостная честность!

Л е б е д е в. Ну, ну, ну!.. Сам, небось, был молодым и понимаешь.

Ш а б е л ь с к и й. Да, я был молод и глуп, в свое время разыгрывал Чацкого, обличал мерзавцев и мошенников, но никогда в жизни я воров не называл в лицо ворами и в доме повешенного не говорил о веревке. Я был воспитан. А ваш, этот тупой лекарь, почувствовал бы себя на высоте своей задачи и на седьмом небе, если бы судьба дала ему случай, во имя принципа

и общечеловеческих идеалов, хватить меня публично по рылу и под микитки.

Л е б е д е в. Молодые люди все с норовом. У меня дядя гегелианец был... так тот, бывало, соберет к себе гостей полон дом, выпьет, станет вот этак на стул и начинает: «Вы невежды! Вы мрачная сила! Заря новой жизни!» Та-та, та-та, та-та... Уж он отчитывает-отчитывает...

С а ш а. А гости что же?

Л е б е д е в. А ничего... Слушают да пьют себе. Раз, впрочем, я его на дуэль вызвал... дядю-то родного. Из-за Бакона вышло. Помню, сидел я, дай бог память, вот так, как Матвей, а дядя с покойным Герасимом Нилычем стояли вот тут, примерно, где Николаша... Ну-с, Герасим Нилыч и задает, братец ты мой, вопрос...

(Входит Боркин.)

V.

Т е ж е и Б о р к и н (одетый франтом, со свертком в руках, подпрыгивая и напевая, входит из правой двери. Гул одобрения).

Б а р ы ш н и. Михаил Михайлович!..

Л е б е д е в. Мишель Мишелич! Слыхом-слыхать...

Ш а б е л ь с к и й. Душа общества!

Б о р к и н. А вот и я! (Подбегает к Саше.) Благородная синьорина, беру на себя смелость поздравить вселенную с рождением такого чудного цветка, как вы... Как дань своего восторга, осмеливаюсь преподнести (подает сверток) фейерверки и бенгальские огни собственного изделия. Да прояснят они ночь так же, как вы просветляете потемки темного царства. (Театрально раскланивается.)

С а ш а. Благодарю вас...

Л е б е д е в (хохочет, Иванову). Отчего ты не прогонишь эту Иуду?

Б о р к и н (Лебедеву). Павлу Кириллычу! (Иванову.) Патрону... (Поет.) *Nicolas voilà, го-ги-го!* (Обходит всех.) Почтеннейшей Зинаиде Савишне... Божественной Марфе Егоровне... Древнейшей Авдотье Назаровне... Сиятельнейшему графу...

Ш а б е л ь с к и й (хохочет). Душа общества... Едва вошел, как атмосфера стала жиже. Вы замечаете?

Б о р к и н. Уф, утомился... Кажется, со всеми здоровался. Ну, что новенького, господа? Нет ли чего-нибудь такого особенного, в нос шибящего? (Живо Зинаиде Савишне.) Ах, послушайте, мамаша... Еду сейчас к вам... (Гавриле.) Дай-ка мне, Гаврюша, чаю, только без кружовенного варенья! (Зинаиде Савишне.) Еду сейчас к вам, а на реке у вас мужики с лозняка кору дерут. Отчего вы лозняк на откуп не отдадите?

Л е б е д е в (Иванову). Отчего ты не прогонишь этого Иуду?

З и н а и д а С а в и ш н а (испуганно). А ведь это правда, мне и на ум не приходило!..

Боркин *(делает ручную гимнастику)*. Не могу без движений... Мамаша, что бы такое особенное выкинуть? Марфа Егоровна, я в ударе... Я экзальтирован! *(Поет.)* «Я вновь пред тобою...»

Зинаида Савишна. Устройте что-нибудь, а то все соскучились.

Боркин. Господа, что же вы это в самом деле носы повесили? Сидят, точно присяжные заседатели!.. Давайте, изобразим что-нибудь. Что хотите? Фанты, веревочку, горелки, танцы, фейерверки?..

Барышни *(хлопают в ладоши)*. Фейерверки, фейерверки! *(Бегут в сад.)*

Саша *(Иванову)*. Что вы сегодня такой скучный?..

Иванов. Голова болит, Шурочка, да и скучно...

Саша. Пойдемте в гостиную. *(Идут в правую дверь; уходят в сад все, кроме Зинаиды Савишны и Лебедева.)*

Зинаида Савишна. Вот это я понимаю — молодой человек: и минуты не побыл, а уж всех развеселил. *(Притупивает большую лампу.)* Пока они все в саду, нечего свечам даром гореть. *(Тушит свечи.)*

Лебедев *(идя за нею)*. Зюзюшка, надо бы дать гостям закусить чего-нибудь...

Зинаида Савишна. Ишь свечей сколько... недаром люди судят, что мы богатые. *(Тушит.)*

Лебедев *(идя за нею)*. Зюзюшка, дала бы чего-нибудь поесть людям... Люди молодые, небось проголодались, бедные... Зюзюшка...

Зинаида Савишна. Граф не допил своего стакана. Даром только сахар пропал. *(Идет в левую дверь.)*

Лебедев. Тфу!.. *(Уходит в сад.)*

VI.

Иванов и Саша.

Саша *(входя с Ивановым из правой двери)*. Все ушли в сад.

Иванов. Такие-то дела, Шурочка. Прежде я много работал и много думал, но никогда не утомлялся; теперь же ничего не делаю и ни о чем не думаю, а устал телом и душой. День и ночь болит моя совесть, я чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю. А тут еще болезнь жены, безденежье, вечная грызня, сплетни, лишние разговоры, глупый Боркин... Мой дом мне опротивел и жить в нем для меня хуже пытки. Скажу вам откровенно, Шурочка, для меня стало невыносимо даже общество жены, которая меня любит. Вы — мой старый приятель, и вы не будете сердиться за мою искренность. Приехал я вот к вам развлечься, но мне скучно и у вас, и опять меня тянет домой. Простите, я сейчас потихоньку уеду.

С а ш а. Николай Алексеевич, я понимаю вас. Ваше несчастье в том, что вы одиноки. Нужно, чтобы около вас был человек, которого бы вы любили и который вас понимал бы. Одна только любовь может обновить вас.

И в а н о в. Ну, вот еще, Шурочка! Недостает, чтоб я, старый, мокрый петух, затянул новый роман! Храни меня бог от такого несчастья! Нет, моя умница, не в романе дело. Говорю, как пред богом, я снесу все: и тоску, и психопатию, и разоренье, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмешки над самим собою. Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди... сам чорт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это — позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю...

С а ш а *(шутя, сквозь слезы)*. Николай Алексеевич, бежимте в Америку.

И в а н о в. Мне до этого порога лень дойти, а вы в Америку... *(Идут к выходу в сад.)* В самом деле, Шура, вам здесь трудно живется! Как погляжу я на людей, которые вас окружают, мне становится страшно: за кого вы тут замуж пойдете? Одна только надежда, что какой-нибудь проезжий поручик или студент украдет вас и увезет...

VII.

З и н а и д а С а в и ш н а *(выходит из левой двери с банкой варенья)*.

И в а н о в. Виноват, Шурочка, я догоню вас...

(Саша уходит в сад.)

И в а н о в. Зинаида Савишна, я к вам с просьбой...

З и н а и д а С а в и ш н а. Что вам, Николай Алексеевич?

И в а н о в *(мнется)*. Дело, видите ли, в том, что послезавтра срок моему векселю. Вы премного обязали бы меня, если бы дали отсрочку, или позволили приписать проценты к капиталу. У меня теперь совсем нет денег...

З и н а и д а С а в и ш н а *(испуганно)*. Николай Алексеевич, да как это можно? Что же это за порядок? Нет, и не выдумывайте вы, бога ради, не мучьте меня несчастную...

И в а н о в. Виноват, виноват... *(Уходит в сад.)*

З и н а и д а С а в и ш н а. Фуй, батюшки, как он меня встревожил!.. Я вся дрожу... вся дрожу... *(Уходит в правую дверь.)*

VIII.

К о с ы х (входит из левой двери и идет через сцену). У меня на бубнах: туз, король, дама, коронка сам-восемь, туз пик и одна... одна маленькая червонка, а она, чорт ее возьми совсем, не могла объявить маленького шлема! (Уходит в правую дверь.)

IX.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а и 1-й г о с т ь.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а (выходя с 1-м гостем из сада). Вот так бы я ее и растерзала, сквалыгу... так бы и растерзала! Шутка ли, с пяти часов сижу, а она хоть бы ржавою селедкой попотчевала!.. Ну, дом!.. Ну, хозяйство!.

1-й г о с т ь. Такая скучища, что просто разбежался бы и головой об стену! Ну, люди, господи помилуй!.. Со скуки да с голоду волком завоюешь и людей грызть начнешь...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Так бы я ее и растерзала, грешница.

1-й г о с т ь. Выпью, старая, и — домой! И невест мне твоих не надо. Какая тут, к нечистому, любовь, ежели с самого обеда ни рюмки?

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Пойдем, поищем, что ли...

1-й г о с т ь. Тсс!.. Потихоньку! Шнапс, кажется, в столовой, в буфете стоит. Мы Егорушку за бока... Тсс!.. (Уходят в левую дверь.)

X.

А н н а П е т р о в н а и Л ь в о в (выходят из правой двери).

А н н а П е т р о в н а. Ничего, нам рады будут. Никого нет. Должно быть, в саду.

Л ь в о в. Ну, зачем, спрашивается, вы привезли меня сюда, к этим коршунам? Не место тут для нас с вами! Честные люди не должны знать этой атмосферы!

А н н а П е т р о в н а. Послушайте, господин честный человек! Нелюбезно провожать даму и всю дорогу говорить с нею только о своей честности! Может быть, это и честно, но, по меньшей мере, скучно. Никогда с женщинами не говорите о своих добродетелях. Пусть они сами поймут. Мой Николай, когда был таким, как вы, в женском обществе только пел песни и рассказывал небылицы, а между тем каждая знала, что он за человек.

Л ь в о в. Ах, не говорите мне про вашего Николая, я его отлично понимаю!

А н н а П е т р о в н а. Вы хороший человек, но ничего не понимаете. Пойдемте в сад. Он никогда не выражался так: «Я честен! Мне душно в этой атмосфере! Коршуны! Совиное гнездо! Крокодилы!» Зверинец он оставлял в покое, а когда, бывало, возмущался, то я от него только и слышала: «Ах, как я был несправедлив сегодня!» или: «Анюта, жаль мне этого человека!» Вот как, а вы... *(Уходят.)*

XI.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а и 1-й г о с т ь.

1-й г о с т ь *(выходя из левой двери)*. В столовой нет, так, стало-быть, где-нибудь в кладовой. Надо бы Егорушку пощупать. Пойдем через гостиную.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Так бы я ее и растерзала!.. *(Уходят в правую дверь.)*

XII.

Б а б а к и н а, Б о р к и н и Ш а б е л ь с к и й. *(Бабакина и Боркин со смехом выбегают из сада; за ними, смеясь и потирая руки, семенит Шабельский.)*

Б а б а к и н а. Какая скука! *(Хохочет)*. Какая скука! Все ходят и сидят, как будто аршин проглотили! От скуки все косточки застыли *(Прыгает.)* Надо размяться!.. *(Боркин хватает ее за талию и целует в щеку.)*

Ш а б е л ь с к и й *(хохочет и щелкает пальцами)*. Чорт возьми! *(Крякает.)* Некоторым образом...

Б а б а к и н а. Пустите, пустите руки, бесстыдник, а то граф бог знает что подумает! Отстаньте!..

Б о р к и н. Ангел души моей, карбункул моего сердца!.. *(Целует.)* Дайте займы 2 300 рублей!..

Б а б а к и н а. Не-не-нет... Как хотите, а насчет денег — очень вами благодарна... Нет, нет, нет!.. Ах, да пустите руки!..

Ш а б е л ь с к и й *(семенит около)*. Помпончик... Имеет свою приятность...

Б о р к и н *(серьезно)*. Но, довольно. Давайте говорить о деле. Будем рассуждать прямо, по-коммерчески. Отвечайте мне прямо, без subtilностей и без всяких фокусов: да или нет? Слушайте! *(Указывает на графа.)* Вот ему нужны деньги, минимум три тысячи годового дохода. Вам нужен муж. Хотите быть графиней?

Ш а б е л ь с к и й *(хохочет)*. Удивительный циник!

Б о р к и н. Хотите быть графиней? Да или нет?

Б а б а к и н а *(взволнованная)*. Выдумываете, Миша, право... И эти дела не делаются так, с бухты-барахты... Если графу угодно, он сам может и... и я не знаю, как это вдруг, сразу...

Боркин. Ну, ну, будет тень наводить! Дело коммерческое... Да или нет?

Шабельский (смеясь и потирая руки). В самом деле, а? Чорт возьми, разве устроить себе эту гнусность? а? Помпончик... (Целует Бабакину в щеку.) Прелесть!.. Огурчик!..

Бабакина. Пойдите, пойдите, вы меня совсем встревожили... Уйдите, уйдите!.. Нет, не уходите!..

Боркин. Скорей! Да или нет? Нам некогда...

Бабакина. Знаете что, граф? Вы приезжайте ко мне в гости дня на три... У меня весело, не так, как здесь... Приезжайте завтра... (Боркину.) Нет, вы это шутите?

Боркин (сердито). Да кто же станет шутить в серьезных делах?

Бабакина. Пойдите, пойдите... Ах, мне дурно! Мне дурно! Графиня... Мне дурно!.. Я падаю...

(Боркин и граф со смехом берут ее под руки и, целуя в щеки, уводят в правую дверь.)

XIII.

Иванов, Саша, потом Анна Петровна. (Иванов и Саша вбегают из сада.)

Иванов (в отчаянии хватая себя за голову). Не может быть! Не надо, не надо, Шурочка!.. Ах, не надо!..

Саша (с увлечением). Люблю я вас безумно... Без вас нет смысла моей жизни, нет счастья и радости! Для меня вы все...

Иванов. К чему, к чему! Боже мой, я ничего не понимаю... Шурочка, не надо!..

Саша. В детстве моем вы были для меня единственной радостью; я любила вас и вашу душу, как себя, а теперь... я вас люблю, Николай Алексеевич... С вами не то что на край света, а куда хотите, хоть в могилу, только ради бога скорее, иначе я задохнусь...

Иванов (закатывается счастливым смехом). Это что же такое? Это, значит, начинать жизнь сначала? Шурочка, да?.. Счастье мое! (Привлекает ее к себе.) Моя молодость, моя свежесть...

(Анна Петровна входит из сада и, увидев мужа и Сашу, останавливается, как вкопанная.)

Иванов. Значит, жить? Да? Снова за дело?

(Поцелуй. После поцелуя Иванов и Саша оглядываются и видят Анну Петровну.)

Иванов (в ужасе). Сарра!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Кабинет Иванова. Письменный стол, на котором в беспорядке лежат бумаги, книги, казенные пакеты, безделушки, револьверы; возле бумаг лампа, графин с водкой, тарелка с селедкой, куски хлеба и огурцы. На стенах ландкарты, картины, ружья, пистолеты, серпы, нагайки и проч. — Полдень.

I.

Ш а б е л ь с к и й, Л е б е д е в, Б о р к и н и П е т р.

Шабельский и Лебедев сидят по сторонам письменного стола. Боркин среди сцены верхом на стуле. Петр стоит у двери.

Л е б е д е в. У Франции политика ясная и определенная... Французы знают, чего хотят. Им нужно лущить колбасников и больше ничего, а у Германии, брат, совсем не та музыка. У Германии кроме Франции еще много сучков в глазу...

Ш а б е л ь с к и й. Вздор!.. По-моему, немцы трусы и французы трусы... Показывают только друг другу кукиши в кармане. Поверь, кукишами дело и ограничится. Драться не будут.

Б о р к и н. А, по-моему, зачем драться? К чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я что бы сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошей дозе и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц.

Л е б е д е в (смеется). Голова, посмотришь, маленькая, а великих идей в ней тьма-тьмущая, как рыб в океане.

Ш а б е л ь с к и й. Виртуоз!

Л е б е д е в. Бог с тобою, смешишь ты, Мишель Мишелич! (Перестав смеяться.) Что ж, господа, Жомини да Жомини, а об водке ни полслова. Repetatur! (Наливает три рюмки.) Будемте здоровы... (Пьют и закусывают.) Селедочка, матушка, всем закускам закуска.

Ш а б е л ь с к и й. Ну, нет, огурец лучше... Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали. (Петру.) Петр, поди-ка еще принеси огурцов, да вели на кухне изжарить четыре пирожка с луком. Чтоб горячие были.

(Петр уходит.)

Л е б е д е в. Водку тоже хорошо икрой закусывать. Только как? С умом надо... Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это и, знаешь, этак... поверх всего лимончиком... Смерть! От одного аромата угоришь.

Б о р к и н. После водки хорошо тоже закусывать жареными пескарями. Только их надо уметь жарить. Нужно почистить, потом обвалять в толченых сухарях и жарить досуха, чтобы на зубах хрустели... хру-хру-хру...

Ш а б е л ь с к и й. Вчера у Бабакиной была хорошая закуска — белые грибы.

Л е б е д е в. А еще бы...

Ш а б е л ь с к и й. Только как-то особенно приготовлены. Знаешь, с луком, с лавровым листом, со всякими специями. Как открыли кастрюлю, а из нее пар, запах... просто восторг!

Л е б е д е в. А что ж? Repetatur, господа! *(Выпивают.)* Будемте здоровы... *(Смотрит на часы.)* Должно быть, не дождусь я Николаши. Пора мне ехать. У Бабакиной, ты говоришь, грибы подавали, а у нас еще не видать грибов. Скажи на милость, за каким это лешим ты зачастил к Марфутке?

Ш а б е л ь с к и й *(кивает на Боркина)*. Да вот, женить меня на ней хочет...

Л е б е д е в. Женить?.. Тебе сколько лет?

Ш а б е л ь с к и й. Шестьдесят два года.

Л е б е д е в. Самая пора жениться. А Марфутка как раз тебе пара.

Б о р к и н. Тут не в Марфутке дело, а в Марфуткиных стерлингах.

Л е б е д е в. Чего захотел: Марфуткиных стерлингов... А гусяного чаю не хочешь?

Б о р к и н. А вот как женится человек, да набьет себе ампоше, тогда и увидите гусиный чай. Облизнетесь...

Ш а б е л ь с к и й. А ведь он серьезно. Этот гений уверен, что я его слушаюсь и женюсь...

Б о р к и н. А то как же? А вы разве уже не уверены?

Ш а б е л ь с к и й. Да ты с ума сошел... Когда я был уверен? Псс...

Б о р к и н. Благодарю вас... Очень вам благодарен! Так это, значит, вы меня подвести хотите? То женюсь, то не женюсь... сам черт не разберет, а я уж честное слово дал! Так вы не женитесь?

Ш а б е л ь с к и й *(пожимает плечами)*. Он серьезно... Удивительный человек!

Б о р к и н *(возмущаясь)*. В таком случае, зачем же было баламутить честную женщину? Она помешалась на графстве, не спит, не ест... Разве этим шутят? Разве это честно?

Ш а б е л ь с к и й *(щелкает пальцами)*. А что, в самом деле, не устроить ли себе эту гнусность? А? На зло! Возьму и устрою. Честное слово... Вот будет потеха!

(Входит Львов.)

II.

Л е б е д е в. Эскулапии, наше нижайшее... *(Подает Львову руку и поет.)* «Доктор, батюшка, спасите, смерти до смерти боюсь...»

Львов. Николай Алексеевич еще не приходил?

Лебедев. Да нет, я сам его жду больше часа.

(Львов нетерпеливо шагает по сцене.)

Лебедев. Милый, ну, как здоровье Анны Петровны?

Львов. Плохо.

Лебедев *(вздых)*. Можно пойти засвидетельствовать почтение?

Львов. Нет, пожалуйста, не ходите. Она, кажется, спит... *(Пауза.)*

Лебедев. Симпатичная, славная... *(Вздыхает.)* В Шурочкин день рождения, когда она у нас в обморок упала, поглядел я на ее лицо, и тогда еще понял, что уж ей, бедной, недолго жить. Не понимаю, отчего с нею тогда дурно сделалось? Прибегаю, гляжу: она бледная на полу лежит, около нее Николаша на коленях, тоже бледный, Шурочка вся в слезах. Я и Шурочка после этого случая неделю как шальные ходили.

Шабельский *(Львову)*. Скажите мне, почтеннейший жрец науки, какой ученый открыл, что при грудных болезнях дамам бывают полезны частые посещения молодого врача? Это великое открытие! Великое! Куда оно относится: к аллопатии или гомеопатии?

(Львов хочет ответить, но делает презрительное движение и уходит.)

Шабельский. Какой уничтожающий взгляд...

Лебедев. А тебя дергает нелегкая за язык! За что ты его обидел?

Шабельский *(раздраженно)*. А зачем он врет? Чашотка, нет надежды, умрет... Врет он! Я этого терпеть не могу!

Лебедев. Почему же ты думаешь, что он врет?

Шабельский *(встает и ходит)*. Я не могу допустить мысли, чтобы живой человек вдруг, ни с того, ни с сего, умер. Оставим этот разговор!

III.

Косых *(вбегает запыхавшись)*. Дома Николай Алексеевич? Здравствуйте! *(Быстро пожимает всем руки.)* Дома?

Боркин. Его нет.

Косых *(садится и вскакивает)*. В таком случае, прощайте! *(Выпивает рюмку водки и быстро закусывает.)* Поеду дальше... Дела... Замучился... Еле на ногах стою...

Лебедев. Откуда ветер принес?

Косых. От Барабанова. Всю ночь провинтили и только что кончили... Проигрался в-пух... Этот Барабанов играет как сапожник! *(Плачущим голосом.)* Вы послушайте: все время несу я черву... *(Обращается к Боркину, который прыгает от него.)* Он ходит бубну, я опять черву, он бубну... Ну, и без взятки.

(*Лебедеву.*) Играем четыре трефы. У меня туз, дама-шост на руках, туз, десятка-третей пик...

Л е б е д е в (*затыкает уши*). Уволь, уволь, ради Христа, уволь!

К о с ы х (*графу*). Понимаете: туз, дама-шост на трефах, туз, десятка-третей пик...

Ш а б е л ь с к и й (*отстраняет его руками*). Уходите, не желаю я слушать!

К о с ы х. И вдруг несчастье: туза пик по первой бьют...

Ш а б е л ь с к и й (*хватает со стола револьвер*). Отойдите стрелять буду!...

К о с ы х (*машет рукой*). Чорт знает... Неужели даже поговорить не с кем? Живешь как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности... Каждый живет прозь... Однако, надо ехать... пора (*Хватает фуражку.*) Время дорого... (*Подает Лебедеву руку.*) Пас!...

(*Смех.*)

(*Косых уходит и в дверях сталкивается с Авдотьей Назаровной.*)

IV.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а (*вскрикивает*). Чтоб тебе пусто было, с ног сшиб!

В с е. А-а-а!.. вездесущая!..

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. Вот они где, а я по всему дому ищу. Здравствуйте, ясные соколы, хлеб да соль... (*Здоровается.*)

Л е б е д е в. Зачем пришла?

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. За делом, батюшка! (*Графу.*) Дело вас касающее, ваше сиятельство. (*Кланяется.*) Велели кланяться и о здоровье спросить... И велела она, куколочка моя, сказать, что ежели вы нынче к вечеру не приедете, то она глазочки свои проплачет. Так, говорит, милая, отзови его в стороночку и шепни на ушко по секрету. А зачем по секрету? Тут все люди свои. И такое дело, не кур крадем, а по закону да по любви, по междоусобному согласию. Никогда, грешница, не пью, а через такой случай выпью!

Л е б е д е в. И я выпью. (*Наливает.*) А тебе, старая скворешня, и сносу нет. Лет тридцать я тебя старухой знаю...

А в д о т ь я Н а з а р о в н а. И счет годам потеряла... Двух мужей похоронила, пошла бы еще за третьего, да никто не хочет без приданого брать. Детей душ восемь было... (*Берет рюмку.*) Ну, дай бог, дело хорошее мы начали, дай бог его и кончить! Они будут жить да поживать, а мы глядеть на них да радоваться. Совет им и любовь... (*Пьет.*) Строгая водка!

Ш а б е л ь с к и й (*хохоча, Лебедеву*). Но что, понимаешь, курьезнее всего, так это то, что они думают серьезно, будто я...

Удивительно! (*Встает.*) А то в самом деле, Паша, не устроить ли себе эту гнусность? На зло... Этак, мол, на, старая собака, ешь! Паша, а?

Л е б е д е в. Пустое ты городишь, граф. Наше, брат, дело с тобою об околеванце думать, а Марфутки да стерлинги давно мимо проехали... Прошла наша пора.

Ш а б е л ь с к и й. Нет, я устрою! Честное слово устрою!

(*Входят Иванов и Львов.*)

V.

Л ь в о в. Я прошу вас уделить мне только пять минут.

Л е б е д е в. Николаша! (*Идет навстречу к Иванову и целует его.*) Здравствуй, дружище... Я тебя уж целый час дожидаюсь.

А в д о т ь я Н а з а р о в н а (*кланяется*). Здравствуйте, батюшка!

И в а н о в (*с горечью*). Господа, опять в моем кабинете кабаки завели!.. Тысячу раз просил я всех и каждого не делать этого... (*Подходит к столу.*) Ну, вот, бумагу водкой облили... крошки... огурцы... Ведь противно!

Л е б е д е в. Виноват, Николаша, виноват... Прости. Мне с тобою, дружище, поговорить надо о весьма важном деле...

Б о р к и н. И мне тоже.

Л ь в о в. Николай Алексеевич, можно с вами поговорить?

И в а н о в (*указывает на Лебедева*). Вот и ему я нужен. Подождите, вы после... (*Лебедеву.*) Чего тебе?

Л е б е д е в. Господа, я желаю говорить конфиденциально. Прошу...

(*Граф уходит с Авдотьей Назаровной, за ними Боркин, потом Львов.*)

И в а н о в. Паша, сам ты можешь пить, сколько тебе угодно, это твоя болезнь, но прошу не спаивать дядю. Раньше он у меня никогда не пил. Ему вредно.

Л е б е д е в (*испуганно*). Голубчик, я не знал... Я даже внимания не обратил...

И в а н о в. Не дай бог, умрет этот старый ребенок, не вам будет худо, а мне... Что тебе нужно?... (*Пауза.*)

Л е б е д е в. Видишь ли, любезный друг... Не знаю, как начать, чтобы это вышло не так бессовестно... Николаша, совестно мне, краснею, язык заплетается, но, голубчик, войди в мое положение, пойми, что я человек подневольный, негр, тряпка... Извини ты меня...

И в а н о в. Что такое?

Л е б е д е в. Жена послала... Сделай милость; будь другом, заплати ты ей проценты! Веришь ли, загрызла, заездила, замучила! Отвяжись ты от нее, ради создателя!..

И в а н о в. Паша, ты знаешь, у меня теперь нет денег.

Л е б е д е в. Знаю, знаю, но что же мне делать? Ждать она не хочет. Если протестует вексель, то как я и Шурочка будем тебе в глаза глядеть?

И в а н о в. Мне самому совестно, Паша, рад сквозь землю провалиться, но... но где взять? Научи: где? Остается одно: ждать осени, когда я хлеб продам.

Л е б е д е в *(кричит)*. Не хочет она ждать! *(Пауза.)*

И в а н о в. Твое положение неприятное, щекотливое, а мое еще хуже. *(Ходит и думает.)* И ничего не придумаешь... Продать нечего...

Л е б е д е в. Съездил бы к Мильбаху, попросил, ведь он тебе шестнадцать тысяч должен.

(Иванов безнадежно машет рукой.)

Л е б е д е в. Вот что, Николаша... Я знаю, ты станешь браниться, но... уважь старого пьяницу! По-дружески... Гляди на меня, как на друга... Студенты мы с тобою, либералы... Общность идей и интересов... В Московском университете учились... Alma mater... *(Вынимает бумажник.)* У меня вот есть заветные, про них ни одна душа в доме не знает. Возьми займы... *(Вынимает деньги и кладет на стол.)* Брось самолюбие, а взгляни по-дружески... Я бы от тебя взял, честное слово... *(Пауза.)* Вот они на столе: тысяча сто. Ты съезди к ней сегодня и отдай собственноручно. На-те, мол, Зинаида Савишна, подавитесь! Только, смотри, и виду не подавай, что у меня занял, храни тебя бог! А то достанется мне на орехи от кружовенного варенья! *(Всматривается в лицо Иванова.)* Ну, ну, не надо! *(Быстро берет со стола деньги и прячет в карман.)* Не надо! Я пошутил... Извини, ради Христа! *(Пауза.)* Мутит на душе?

(Иванов машет рукой.)

Л е б е д е в. Да, дела... *(Вздыхает.)* Настало для тебя время скорби и печали. Человек, братец ты мой, все равно, что самовар. Не все он стоит в холодке на полке, но, бывает, и угольки в него кладут: пш... пш! Ни к чорту это сравнение не годится, ну, да ведь умнее не придумаешь... *(Вздыхает.)* Несчастия закаляют душу. Мне тебя не жалко, Николаша, ты выскочишь из беды, перемелется — мука будет, но обидно, брат, и досадно мне на людей... Скажи на милость, откуда эти сплетни берутся! Столько, брат, про тебя по уезду сплетен ходит, что, того и гляди, к тебе товарищ прокурора приедет... Ты и убийца, и кровопийца, и грабитель...

И в а н о в. Это все пустяки, вот у меня голова болит.

Л е б е д е в. Все оттого, что много думаешь.

И в а н о в. Ничего я не думаю.

Л е б е д е в. А ты, Николаша, начихай на все, да поезжай к нам. Шурочка тебя любит, понимает и ценит. Она, Николаша,

честный, хороший человек. Не в мать и не в отца, а, должно быть, в проезжего молодца... Гляжу, брат, иной раз и не верю, что у меня, у толстоногого пьяницы, такое сокровище. Поезжай, потолкуй с нею об умном и — развлечешься. Это верный, искренний человек... *(Пауза.)*

И в а н о в. Паша, голубчик, оставь меня одного...

Л е б е д е в. Понимаю, понимаю... *(Торопливо смотрит на часы.)* Я понимаю *(Целует Иванова.)* Прощай. Мне еще на освящение школы ехать *(Идет к двери и останавливается.)* Умная... Вчера стали мы с Шурочкой насчет сплетен говорить. *(Смеется.)* А она афоризмом выпалила: «Папочка, светляки, говорит, светят ночью только для того, чтобы их легче могли увидеть и съесть ночные птицы, а хорошие люди существуют для того, чтобы было что есть клевете и сплетне». Каково? Гений! Жорж-Занд!..

И в а н о в. Паша! *(Останавливает его.)* Что со мною?

Л е б е д е в. Я сам тебя хотел спросить об этом, да, признаться, стеснялся. Не знаю, брат! С одной стороны мне казалось, что тебя одолели несчастья разные, с другой же стороны, знаю, что ты не таковский, чтобы того... Бедой тебя не победишь. Что-то, Николаша, другое, а что — не понимаю!

И в а н о в. Я сам не понимаю. Мне кажется, или... впрочем, нет! *(Пауза.)* Видишь ли, что я хотел сказать. У меня был рабочий Семен, которого ты помнишь. Раз, во время молотьбы, он захотел похвастать перед девками своею силой, взвалил себе на спину два мешка ржи и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты... Веровал я не так, как все, женился не так, как все, горячился, рисковал, деньги свои, сам знаешь, бросал направо и налево, был счастлив и страдал, как никто во всем уезде. Все это, Паша, мои мешки... Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула. В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем, и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость? Впрочем, быть может, это не то... Не то, не то!.. Иди, Паша, с богом, я надоед тебе.

Л е б е д е в. *(живо)*. Знаешь что? Тебя, брат, среда заела!

И в а н о в. Глупо, Паша, и старо. Иди!

Л е б е д е в. Действительно, глупо. Теперь и сам вижу, что глупо. Иду, иду!.. *(Уходит.)*

VI.

И в а н о в *(один)*. Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Надо быть тоже жалким, истасканным, испытанным, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, боже мой! Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смешно ли, не обидно ли?

Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч, работал этими самыми руками, говорил так, что трогал до слез даже невежд, умел плакать, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери... А теперь, о, боже мой! утомился, не верю, в бездельи провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги. Имение идет прахом, леса трещат под топором. *(Плачет.)* Земля моя глядит на меня, как сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем... А история с Саррой? Клялся в вечной любви, пророчил счастье, открывал перед ее глазами будущее, какое ей не снилось даже во сне. Она поверила. Во все пять лет я видел только, как она угасала под тяжестью своих жертв, как изнемогала в борьбе с совестью, но, видит бог, ни косога взгляда на меня, ни слова упрека!.. И что же? Я разлюбил ее... Как? Почему? За что? Не понимаю. Вот она страдает, дни ее сочтены, а я, как последний трус, бегу от ее бледного лица, впалой груди, умоляющих глаз... стыдно, стыдно! *(Пауза.)* Сашу, девочку, трогают мои несчастья. Она мне, почти старику, объясняется в любви, а я пьянею, забываю про все на свете, обвороженный как музыкой, и кричу: «Новая жизнь! счастье!» А на другой день верю в эту жизнь и в счастье так же мало, как в домового... Что же со мною? В какую пропасть толкаю я себя? Откуда во мне эта слабость? Что стало с моими нервами? Стоит только больной жене уколоть мое самолюбие, или не угодит прислуга, или ружье даст осечку, как я становлюсь груб, зол и не похож на себя... *(Пауза.)* Не понимаю, не понимаю, не понимаю! Просто, хоть пулю в лоб!..

Л ь в о в *(входит)*. Мне нужно с вами объясниться, Николай Алексеевич!

И в а н о в. Если мы, доктор, будем каждый день объясняться, то на это сил никаких не хватит.

Л ь в о в. Вам угодно меня выслушать?

И в а н о в. Выслушиваю я вас каждый день и до сих пор никак не могу понять: что собственно вам от меня угодно?

Л ь в о в. Говорю я ясно и определенно, и не может меня понять только тот, у кого нет сердца...

И в а н о в. Что у меня жена при смерти — я знаю; что я непоправимо виноват перед нею — я тоже знаю; что вы честный, прямой человек — тоже знаю! Что же вам нужно еще?

Л ь в о в. Меня возмущает человеческая жестокость... Умирает женщина. У нее есть отец и мать, которых она любит и хотела бы видеть перед смертью; те знают отлично, что она скоро умрет и что все еще любит их, но, проклятая жестокость, они точно хотят удивить своим религиозным закалом: все еще проклинаят ее! Вы человек, которому она пожертвовала всем — и родным гнездом, и покоем совести, вы откровеннейшим образом

и с самыми откровенными целями каждый день катаетесь к этим Лебедевым!

И в а н о в. Ах, я там уже две недели не был...

Л ь в о в *(не слушая его)*. С такими людьми, как вы, надо говорить прямо, без обиняков, и если вам не угодно слушать меня, то не слушайте! Я привык называть вещи настоящим их именем... Вам нужна эта смерть для новых подвигов; пусть так, но неужели вы не могли бы подождать? Если бы вы дали ей умереть естественным порядком, не долбили бы ее своим откровенным цинизмом, то неужели бы от вас ушла Лебедева со своим приданым? Не теперь, так через год, через два, вы, чудный Тартюф, успели бы вскружить голову девочке и завладеть ее приданым так же, как и теперь... К чему же вы торопитесь? Почему вам нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не через месяц, через год?..

И в а н о в. Мучение... Доктор, вы слишком плохой врач, если предполагаете, что человек может сдерживать себя до бесконечности. Мне страшных усилий стоит не отвечать вам на ваши оскорбления.

Л ь в о в. Полноте, кого вы хотите одурачить? Сбросьте маску.

И в а н о в. Умный человек, подумайте: по-вашему, нет ничего легче, как понять меня! Да? Я женился на Ане, чтобы получить большое приданое... Приданого мне не дали, я промахнулся и теперь сживаю ее со света, чтобы жениться на другой и взять приданое... Да? Как просто и несложно... Человек такая простая и немудреная машина... Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам. Я не понимаю вас, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаем. Можно быть прекрасным врачом — и в то же время совсем не знать людей. Не будьте же самоуверенны и согласитесь с этим.

Л ь в о в. Да неужели же вы думаете, что вы так непрозрачны и у меня так мало мозга, что я не могу отличить подлости от честности?

И в а н о в. Очевидно, мы с вами никогда не споемся... В последний раз я спрашиваю и отвечайте, пожалуйста, без предисловий: что собственно вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? *(Раздраженно.)* И с кем я имею честь говорить: с моим прокурором, или с врачом моей жены?

Л ь в о в. Я врач и, как врач, требую, чтобы вы изменили ваше поведение... Оно убивает Анну Петровну!

И в а н о в. Но что же мне делать? Что? Если вы меня понимаете лучше, чем я сам себя понимаю, то говорите определенно: что мне делать?

Л ь в о в. По крайней мере, действовать не так откровенно.

И в а н о в. А, боже мой! Неужели вы себя понимаете? *(Пьет воду.)* Оставьте меня. Я тысячу раз виновать, отвечу перед богом, а вас никто не уполномочивал ежедневно пытаться меня...

Л ь в о в. А кто вас уполномочивал оскорблять во мне мою правду? Вы измучили и отравили мою душу. Пока я не попал в этот уезд, я допускал существование людей глупых, сумасшедших, увлекающихся, но никогда я не верил, что есть люди преступные осмысленно, сознательно направляющие свою волю в сторону зла... Я уважал и любил людей, но, когда увидел вас...

И в а н о в. Я уже слышал, об этом!

Л ь в о в. Слышали? *(Увидев входящую Сашу; она в амазонке.)* Теперь уж, надеюсь, мы отлично понимаем друг друга!

(Пожимает плечами и уходит.)

VII.

И в а н о в *(испуганно)*. Шура, это ты?

С а ш а. Да я. Здравствуй. Не ожидал? Отчего ты так долго не был у нас?

И в а н о в. Шура, ради бога, это неосторожно! Твой приезд может страшно подействовать на жену.

С а ш а. Она меня не увидит. Я прошла черным ходом. Сейчас уеду. Я беспокоюсь: ты здоров? Отчего не приезжал так долго?

И в а н о в. Жена и без того уж оскорблена, почти умирает, а ты приезжаешь сюда. Шура, Шура, это легкомысленно и бесчеловечно!

С а ш а. Что же мне было делать? Ты две недели не был у нас, не отвечал на письма. Я измучилась. Мне казалось, что ты тут невыносимо страдаешь, болен, умер. Ни одной ночи я не спала покойно. Сейчас уеду... По крайней мере, скажи: ты здоров?

И в а н о в. Нет, замучил я себя, люди мучают меня без конца... Просто сил моих нет! А тут еще ты! Как это нездорово, как ненормально! Шура, как я виновать, как виноват!..

С а ш а. Как ты любишь говорить страшные и жалкие слова! Виноват ты? Да? Виноват? Ну, так говори же: в чем?

И в а н о в. Не знаю, не знаю...

С а ш а. Это не ответ. Каждый грешник должен знать, в чем он грешен. Фальшивые бумажки делал, что ли?

И в а н о в. Не остроумно!

С а ш а. Виноват, что разлюбил жену? Может быть, но человек не хозяин своим чувствам, ты не хотел разлюбить. Виноват ты, что она видела, как я объяснялась тебе в любви? Нет, ты не хотел, чтобы она видела...

И в а н о в *(перебивая)*. И так далее, и так далее... Полюбил, разлюбил, не хозяин своим чувствам — все это общие места, избитые фразы, которыми не поможешь...

С а ш а. Утомительно с тобою говорить. (*Смотрит на картину.*) Как хорошо собака нарисована! Это с натуры?

И в а н о в. С натуры. И весь этот наш роман — общее, избитое место: он пал духом и утерял почву. Явилась она, бодрая духом, сильная, и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только в романах, а в жизни...

С а ш а. И в жизни то же самое.

И в а н о в. Вижу, тонко ты понимаешь жизнь! Мое нытье внушает тебе благоговейный страх, ты воображаешь, что обрела во мне второго Гамлета, а, по-моему, эта моя психопатия, со всеми ее аксессуарами, может служить хорошим материалом только для смеха и больше ничего! Надо бы хохотать до упаду над моим кривляньем, а ты — караул! Спасать, совершать подвиг! Ах, как я зол сегодня на себя. Чувствую, что сегодняшнее мое напряжение разрешится чем-нибудь... Или я сломаю что-нибудь, или...

С а ш а. Вот, вот, это именно и нужно. Сломай что-нибудь, разбей или закричи. Ты на меня сердит, я сделала глупость, что решилась приехать сюда. Ну, так возмутись, закричи на меня, затопай ногами. Ну? Начинай сердиться... (*Пауза.*) Ну?

И в а н о в. Смешная.

С а ш а. Отлично. Мы, кажется, улыбаемся! Будьте добры, соблаговолите еще раз улыбнуться!

И в а н о в (*смеется*). Я заметил: когда ты начинаешь спасать меня и учить уму-разуму, то у тебя делается лицо наивное-пренаивное, а зрачки большие, точно ты на комету смотришь. Постой, у тебя плечо в пыли. (*Смахивает с ее плеча пыль.*) Наивный мужчина — это дурак. Вы же, женщины, умудряетесь наивничать так, что это у вас выходит и мило, и здорово, и тепло, и не так глупо, как кажется. Только что у вас у всех за манера? Пока мужчина здоров, силен и весел, вы не обращаете на него никакого внимания, но как только он покати́л вниз по наклонной плоскости и стал Лазаря петь, вы вешаетесь ему на шею. Разве быть женой сильного и храброго человека хуже, чем быть сиделкой у какого-нибудь слезоточивого неудачника?

С а ш а. Хуже!

И в а н о в. Почему же? (*Хохочет.*) Не знает об этом Дарвин, а то бы он задал вам на орехи! Вы портите человеческую породу. По вашей милости на свете скоро будут рождаться одни только нытики и психопаты.

С а ш а. Мужчины многого не понимают. Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, потому что каждую соблазняет любовь деятельная... Понимаешь? Деятельная. Мужчины заняты делом и потому у них любовь на третьем плане. Поговорить с женой, погулять с нею по саду, приятно провести время, на ее могилке поплакать — вот и все. А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобою на край света... Ты на гору и я на гору; ты в яму и я в яму. Для меня, например, было бы боль-

шим счастьем всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудил кто-нибудь, или идти с тобою пешком верст сто. Помню, года три назад, ты раз, во время молотбы, пришел к нам весь в пыли, загорелый, измученный и попросил пить. Принесла я тебе стакан, а ты уж лежишь на диване и спишь, как убитый. Спал ты у нас полсутки, а я все время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошел. И так мне было хорошо! Чем больше труда, тем любовь лучше, то-есть она, понимаешь ли, сильнее чувствуется.

И в а н о в. Деятельная любовь... Гм... Порча это, девическая философия, или, может, так оно и должно быть... (*Пожимает плечами.*) Чорт его знает! (*Весело.*) Шура, честное слово, я порядочный человек!.. Ты посуди: я всегда любил философствовать, но никогда в жизни я не говорил: «наши женщины испорчены», или: «женщина вступила на ложную дорогу». Я был только благодарен и больше ничего! Больше ничего! Девочка моя, хорошая, какая ты забавная! А я-то, какой смешной болван! Православный народ смущаю, по целым дням Лазаря пою (*Смеется.*) Бу-у! бу-у! (*Быстро отходит.*) Но уходи, Саша! Мы забылись...

С а ш а. Да, пора уходить. Прощай! Боюсь, как бы твой честный доктор из чувства долга не донес Анне Петровне, что я здесь. Слушай меня: ступай сейчас к жене и сиди, сиди, сиди... Год понадобится сидеть — год сиди. Десять лет — сиди десять лет. Исполняй свой долг. И горюй, и прощения у нее проси, и плачь, — все это так и надо. А, главное, не забывай дела.

И в а н о в. Опять у меня такое чувство, как будто я мухомору объелся. Опять!

С а ш а. Ну, храни тебя создатель! Обо мне можешь совсем не думать! Недели через две черкнешь строчку — и на том спасибо. А я тебе буду писать...

(*Боркин выглядывает в дверь.*)

VIII.

Б о р к и н. Николай Алексеевич, можно? (*Увидев Сашу.*) Виноват, я и не вижу... (*Входит.*) Бонжур! (*Раскланивается.*)

С а ш а (*смущенно*). Здравствуйте...

Б о р к и н. Вы пополнели, похорошели.

С а ш а (*Иванову*). Так я ухожу, Николай Алексеевич. Я ухожу. (*Уходит.*)

Б о р к и н. Чудное видение! Шел за прозой, а наткнулся на поэзию... (*Поет.*) «Явилась ты, как птичка к свету»...

(*Иванов взволнованно ходит по сцене.*)

Б о р к и н (*садится*). А в ней, Nicolas, есть что-то такое, этакое, чего нет в других. Не правда ли? Что-то особенное... фантазмагорическое... (*Вздыхает.*) В сущности, самая богатая

невеста во всем уезде, но маменька такая редька, что никто не захочет связываться. После ее смерти все останется Шурочке, а до смерти даст тысячу десять, пайку и утюг, да еще велит в ножки поклониться (*Роемся в карманах.*) Покурить де-лос-махорос. Не хотите ли? (*Протягивает портсигар.*) Хорошие... Курить можно.

И в а н о в (*подходит к Боркину, задыхаясь от гнева*). Сию же минуту, чтоб ноги вашей не было у меня в доме! Сию же минуту!

(*Боркин приподнимается и роняет сигару.*)

И в а н о в. Вон сию же минуту!

Б о р к и н. Nicolas, что это значит? За что вы сердитесь?

И в а н о в. За что? А откуда у вас эти сигары? И вы думаете, что я не знаю, куда и зачем вы каждый день возите старика?

Б о р к и н (*пожимает плечами*). Да вам-то что за надобность?

И в а н о в. Негодяй вы этакый! Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным человеком! У нас нет ничего общего, и я прошу вас сию же минуту оставить мой дом! (*Быстро ходит.*)

Б о р к и н. Я знаю, все это вы говорите в раздражении, а потому не сержусь на вас. Оскорбляйте, сколько хотите... (*Поднимает сигару.*) А меланхолию пора бросить. Вы не гимназист...

И в а н о в. Я вам что сказал? (*Дрожа.*) Вы играете мною?

(*Входит Анна Петровна.*)

IX.

Б о р к и н. Ну, вот, Анна Петровна пришла... Я уйду. (*Уходит.*)

(*Иванов останавливается возле стола и стоит, поникнув головой.*)

А н н а П е т р о в н а (*после паузы*). Зачем она сейчас сюда приезжала? (*Пауза.*) Я тебя спрашиваю: зачем она сюда приезжала?

И в а н о в. Не спрашивай, Анюта... (*Пауза.*) Я глубоко виноват. Придумывай какое хочешь наказание, я все снесу, но... не спрашивай... Говорить я не в силах.

А н н а П е т р о в н а (*сердито*). Зачем она здесь была? (*Пауза.*) А, так вот ты какой! Теперь я тебя понимаю. Наконец-то я вижу, что ты за человек. Бесчестный, низкий... Помнишь, ты пришел и солгал мне, что ты меня любишь... Я поверила и оставила отца, мать, веру и пошла за тобою... Ты лгал мне о правде, о добре, о своих честных планах, я верила каждому слову...

И в а н о в. Анюта, я никогда не лгал тебе...

А н н а П е т р о в н а. Жила я с тобою пять лет, томилась и болела, но любила тебя и не оставляла ни на одну минуту... Ты был моим кумиром... И что же? Все это время ты обманывал меня самым наглým образом...

И в а н о в. Анюта, не говори неправды. Я ошибался, да, но не солгал ни разу в жизни... В этом ты не смеешь попрекнуть меня...

А н н а П е т р о в н а. Теперь все понятно... Женился ты на мне и думал, что отец и мать простят меня, дадут мне денег... Ты это думал...

И в а н о в. О, боже мой! Анюта, испытывать так терпение... *(Плачет.)*

А н н а П е т р о в н а. Молчи! Когда увидел, что денег нет, повел новую игру... Теперь я все помню и понимаю. *(Плачет.)* Ты никогда не любил меня и не был мне верен... Никогда!..

И в а н о в. Сарра, это ложь!.. Говори, что хочешь, но не оскорбляй меня ложью...

А н н а П е т р о в н а. Бесчестный, низкий человек... Ты должен Лебедеву, и теперь, чтобы увильнуть от долга, хочешь вскружить голову его дочери, обмануть ее так же, как меня. Разве не правда?

И в а н о в *(задыхаясь)*. Замолчи, ради бога! Я за себя не ручаюсь... Меня душит гнев и я... я могу оскорбить тебя...

А н н а П е т р о в н а. Всегда ты нагло обманывал, и не меня одну... Все бесчестные поступки сваливал ты на Боркина, но теперь я знаю — чьи они...

И в а н о в. Сарра, замолчи, уйди, а то у меня с языка сорвется слово! Меня так и подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное, оскорбительное... *(Кричит.)* Замолчи, жидовка!..

А н н а П е т р о в н а. Не замолчу... Слишком долго ты обманывал меня, чтобы я могла молчать...

И в а н о в. Так ты не замолчишь? *(Борется с собою.)* Ради бога...

А н н а П е т р о в н а. Теперь иди и обманывай Лебедеву...

И в а н о в. Так знай же, что ты... скоро умрешь... Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь...

А н н а П е т р о в н а *(садится, упавшим голосом)*. Когда он сказал? *(Пауза.)*

И в а н о в *(хватая себя за голову)*. Как я виноват! Боже, как я виноват! *(Рыдает.)*

З а н а в е с.

Между третьим и четвертым действиями проходит около года.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

I.

Одна из гостиных в доме Лебедева. Впереди арка, отделяющая гостиную от зала, направо и налево — двери. Старинная бронза, семейные портреты. Праздничное убранство. Пианино, на нем скрипка, возле стоит виолончель. — В продолжение всего действия по залу ходят гости, одетые по-бальному.

Л ь в о в *(входит, смотрит на часы)*. Пятый час. Должно быть, сейчас начнется благословение... Благословят и повезут

венчать. Вот оно торжество добродетели и правды! Сарру не удалось ограбить, замучил ее и в гроб уложил, теперь нашел другую. Будет и перед этою лицемерить, пока не ограбит ее и, ограбивши, не уложит туда же, где лежит бедная Сарра. Старая, кулаческая история... *(Пауза.)* На седьмом небе от счастья, прекрасно проживет до глубокой старости, а умрет со спокойною совестью. Нет, я выведу тебя на чистую воду! Когда я сорву с тебя проклятую маску и когда все узнают, что ты за птица, ты полетишь у меня с седьмого неба вниз головой в такую яму, из которой не вытащит тебя сама нечистая сила! Я честный человек, мое дело вступить и открыть глаза слепым. Исполню свой долг и завтра же вон из этого проклятого уезда! *(Задумывается.)* Но что сделать? Объясняться с Лебедевыми — напрасный труд. Вызвать на дуэль? Затеять скандал? Боже мой, я волнуюсь, как мальчишка, и совсем потерял способность соображать. Что делать? Дуэль?

II.

К о с ы х *(входит, радостно Львову).* Вчера объявил маленький шлем на трефах, а взял большой. Только опять этот Барабанов мне всю музыку испортил! Играем. Я говорю без козырей. Он пас. Два трефы. Он пас. Я два бубны... три трефы... и представьте, можете себе представить: я объявляю шлем, а он не показывает туза. Покажи он, мерзавец, туза, я объявил бы большой шлем на бескозырях...

Л ь в о в. Простите, я в карты не играю, и потому не сумею разделить вашего восторга. Скоро благословение?

К о с ы х. Должно, скоро. Зюзюшку в чувство приводят. Белугой ревет, приданого жалко.

Л ь в о в. А не дочери?

К о с ы х. Приданого. Да и обидно. Женится, значит, долга не заплатит. Зятевы векселя не протестуешь.

III.

Б а б а к и н а *(разодетая, важно проходит через сцену мимо Львова и Косых; последний прыскает в кулак; она оглядывается).* Глупо!

(Косых касается пальцем ее талии и хохочет.)

Б а б а к и н а. Мужик! *(Уходит.)*

К о с ы х *(хохочет).* Совсем спятила баба! Пока в сиятельство не лезла — была баба, как баба, а теперь приступу нет. *(Дразнит.)* Мужик!

Л ь в о в *(волнуясь).* Слушайте, скажите мне искренно: какого вы мнения об Иванове?

К о с ы х. Ничего не стоит. Играет, как сапожник. В прошлом году, в посту, был такой случай. Садимся мы играть: я, граф, Боркин и он. Я сдаю...

Львов (перебивая). Хороший он человек?

Косых. Он-то? Жох-мужчина! Пройда, сквозь огонь и воду прошел. Он и граф — пятак пара. Нюхом чуют, где что плохо лежит. На жидовке нарвался, съел гриб, а теперь к Зюзюшкиным сундукам подбирается. Об заклад бьюсь, будь я трижды анафема, если через год он Зюзюшку по миру не пустит. Он — Зюзюшку, а граф — Бабакину. Заберут денежки и будут жить-поживать, да добра наживать. Доктор, что это вы сегодня такой бледный? На вас лица нет.

Львов. Ничего, это так. Вчера лишнее выпил.

IV.

Лебедев (входя с Сашей). Здесь поговорим. (Львову и Косых.) Ступайте, зулусы, в залу к барышням. Нам по секрету поговорить нужно.

Косых (проходя мимо Саши, восторженно щелкает пальцами). Картина! Козырная дама!

Лебедев. Проходи, пещерный человек, проходи!

(Львов и Косых уходят.)

Лебедев. Садись, Шурочка, вот так... (Садится и оглядывается.) Слушай внимательно и с должным благоговением. Дело вот в чем: твоя мать приказала мне передать тебе следующее... Понимаешь? Я не от себя буду говорить, а мать приказала.

Саша. Папа, покороче!

Лебедев. Тебе в приданое назначается пятнадцать тысяч рублей серебром. Вот... Смотри, чтоб потом разговоров не было! Постой, молчи! Это только цветки, а будут еще ягодки. Приданого тебе назначено пятнадцать тысяч, но, принимая во внимание, что Николай Алексеевич должен твоей матери 9 тысяч, из твоего приданого делается вычитание... Ну-с, а потом, кроме того...

Саша. Для чего ты мне это говоришь?

Лебедев. Мать приказала!

Саша. Оставьте меня в покое! Если бы ты хотя немного уважал меня и себя, то не позволял бы себе говорить со мною таким образом. Не нужно мне вашего приданого! Я не просила и не прошу!

Лебедев. За что же ты на меня набросилась? У Гоголя две крысы сначала понюхали, а потом уж ушли, а ты, эмансипе, не понюхавши, набросилась.

Саша. Оставьте вы меня в покое, не оскорбляйте моего слуха вашими грошовыми расчетами.

Лебедев (вспылив). Тфу! Все вы то сделаете, что я себя ножом пырну или человека зарежу! Та день-денской ревмя-ревет, зудит, пилит, копейки считает, а эта, умная, гуманная, чорт подери, эмансипированная, не может понять родного отца! Я оскорбляю слух! Да ведь прежде, чем прийти сюда оскорблять

твой слух, меня там (*указывает на дверь*) на куски резали, четвертовали. Не может она понять! Голову вскружили и с толку сбили... ну, вас! (*Идет к двери и останавливается.*) Не нравится мне, все мне в вас не нравится!

С а ш а. Что тебе не нравится?

Л е б е д е в. Все мне не нравится! Все!

С а ш а. Что все?

Л е б е д е в. Так вот я рассядусь перед тобою и стану рассказывать. Ничего мне не нравится, а на свадьбу твою я и смотреть не хочу! (*Подходит к Саше и ласково.*) Ты меня извини, Шурочка, может быть, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, с принципами, но что-то в ней не то, не то! Не походит она на другие свадьбы. Ты — молодая, свежая, чистая, как стеклышко, красивая, а он — вдовец, истрепался, обносился. И не понимаю я его, бог с ним (*Целует дочь.*) Шурочка, прости, но что-то не совсем чисто. Уж очень много люди говорят. Как-то так у него эта Сарра умерла, потом как-то вдруг почему-то на тебе жениться захотел... (*Живо.*) Впрочем, я баба, баба. Обабился, как старый кринолин. Не слушай меня. Никого, себя только слушай.

С а ш а. Папа, я и сама чувствую, что не то... Не то, не то, не то. Если бы ты знал, как мне тяжело! Невыносимо! Мне неловко и страшно сознаваться в этом. Папа, голубчик, ты меня подбодри, ради бога... научи, что делать.

Л е б е д е в. Что такое? Что?

С а ш а. Так страшно, как никогда не было! (*Оглядывается.*) Мне кажется, что я его не понимаю и никогда не пойму. За все время, пока я его невеста, он ни разу не улыбнулся, ни разу не взглянул мне прямо в глаза. Вечно жалобы, раскаяние в чем-то, намеки на какую-то вину, дрожь... Я утомилась. Бывают даже минуты, когда мне кажется, что я... я его люблю не так сильно, как нужно. А когда он приезжает к нам или говорит со мною, мне становится скучно. Что это все значит, папочка? Страшно!

Л е б е д е в. Голубушка моя, дитя мое единственное, послушай старого отца. Откажи ему!

С а ш а (*испуганно*). Что ты, что ты!

Л е б е д е в. Право, Шурочка. Скандал будет, весь уезд языками затрезвонит, но ведь лучше пережить скандал, чем губить себя на всю жизнь.

С а ш а. Не говори, не говори, папа! И слушать не хочу. Надо бороться с мрачными мыслями. Он хороший, несчастный, непонятый человек; я буду его любить, пойму, поставлю его на ноги. Я исполню свою задачу. Решено!

Л е б е д е в. Не задача это, а психопатия.

С а ш а. Довольно. Я покаялась тебе, в чем не хотела сознаться даже самой себе. Никому не говори. Забудем.

Л е б е д е в. Ничего я не понимаю. Или я отупел от старости, или все вы очень уж умны стали, а только я, хоть зарежьте, ничего не понимаю.

Шабельский *(входя)*. Чорт бы побрал всех и меня в том числе! Возмутительно!

Лебедев. Тебе что?

Шабельский. Нет, серьезно, нужно во что бы то ни стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтоб не только мне, но и всем противно стало. И я устрою. Честное слово! Я уж сказал Боркину, чтобы он объявил меня сегодня женихом. *(Смеется.)* Все подлы, и я буду подл.

Лебедев. Надоел ты мне! Слушай, Матвей, договоришься ты до того, что тебя, извини за выражение, в желтый дом свезут.

Шабельский. А чем желтый дом хуже любого белого или красного дома? Сделай милость, хоть сейчас меня туда вези. Сделай милость. Все подленькие, маленькие, ничтожные, бездарные, сам я гадок себе, не верю ни одному своему слову...

Лебедев. Знаешь что, брат? Возьми в рот паклю, зажги и дыши на людей. Или еще лучше: возьми свою шапку и поезжай домой. Тут свадьба, все веселятся, а ты кра-кра, как ворона. Да, право...

(Шабельский склоняется к пианино и рыдает.)

Лебедев. Батюшки!.. Матвей!.. граф!.. Что с тобою? Матюша, родной мой... ангел мой... Я обидел тебя? Ну, прости меня, старую собаку... Прости пьяницу... Воды вышей...

Шабельский. Не нужно *(Поднимает голову.)*

Лебедев. Чего ты плачешь?

Шабельский. Ничего, так...

Лебедев. Нет, Матюша, не лги... отчего? Что за причина?

Шабельский. Взглянул я сейчас на эту виолончель и... и жишовочку вспомнил...

Лебедев. Эва, когда нащел вспоминать! Царство ей небесное, вечный покой, а вспоминать не время...

Шабельский. Мы с нею дуэты играли... Чудная, превосходная женщина!

(Саша рыдает.)

Лебедев. Ты еще что? Будет тебе! Господи, режут оба, а я... я... Хоть уйдите отсюда, гости увидят!

Шабельский. Паша, когда солнце светит, то и на кладбище весело. Когда есть надежда, то и в старости хорошо. А у меня ни одной надежды, ни одной!

Лебедев. Да, действительно тебе плоховато... Ни детей у тебя, ни денег, ни занятий... Ну, да что делать! *(Саше.)* А ты-то чего?

Ш а б е л ь с к и й. Паша, дай мне денег. На том свете мы поквитаемся. Я съезжу в Париж, погляжу на могилу жены. В своей жизни я много давал, роздал половину своего состояния, а потому имею право просить. К тому же прошу я у друга...

Л е б е д е в *(растерянно)*. Голубчик, у меня ни копейки! Впрочем, хорошо, хорошо! То-есть я не обещаю, а понимаешь ли... отлично, отлично! *(В сторону.)* Замучили!

VI.

Б а б а к и н а *(входит)*. Где же мой кавалер? Граф, как вы смеете оставлять меня одну? У, противный! *(Бьет графа веером по руке.)*

Ш а б е л ь с к и й *(брезгливо)*. Оставьте меня в покое! Я вас ненавижу!

Б а б а к и н а *(оторопело)*. Что?... А?..

Ш а б е л ь с к и й. Отойдите прочь!

Б а б а к и н а *(падает в кресло)*. Ах! *(Плачет.)*

З и н а и д а С а в и ш н а *(входит, плача)*. Там кто-то приехал... Кажется, женихов шафер. Благословлять время... *(Рыдает.)*

С а ш а *(умоляюще)*. Мама!

Л е б е д е в. Ну, все заревели! Квартет! Да будет вам сы-рость разводить! Матвей!.. Марфа Егоровна!.. Ведь этак и я... я заплачу... *(Плачет.)* Господи!

З и н а и д а С а в и ш н а. Если тебе мать не нужна, если без послушания... то сделаю тебе такое удовольствие, благо-словлю..

(Входит Иванов; он во фраке и перчатках.)

VII.

Л е б е д е в. Этого еще не доставало! Что такое?

С а ш а. Зачем ты?

И в а н о в. Виноват, господа, позвольте мне поговорить с Сашей наедине.

Л е б е д е в. Это не порядок, чтоб до венца к невесте приез-жать! Тебе пора ехать в церковь!

И в а н о в. Паша, я прошу...

(Лебедев пожимает плечами; он, Зинаида Савишна, граф и Ба-бакина уходят.)

VIII.

С а ш а *(сурово)*. Что тебе нужно?

И в а н о в. Меня душит злоба, но я могу говорить хлад-нокровно. Слушай. Сейчас я одевался к венцу, взглянул на себя

в зеркало, а у меня на висках... седины. Шура, не надо! Пока еще не поздно, нужно прекратить эту бессмысленную комедию... Ты молода, чиста, у тебя впереди жизнь, а я...

С а ш а. Все это не ново, слышала я уже тысячу раз и мне надоело! Поезжай в церковь, не задерживай людей.

И в а н о в. Я сейчас уеду домой, а ты объяви своим, что свадьбы не будет. Объясни им как-нибудь. Пора взяться за ум. Поиграл я Гамлета, а ты возвышенную девицу — и будет с нас.

С а ш а *(вспыхнув)*. Это что за тон? Я не слушаю.

И в а н о в. А я говорю и буду говорить.

С а ш а. Ты зачем приехал? Твое нытье переходит в издевательство.

И в а н о в. Нет, уж я не ною! Издевательство? Да, я издеваюсь. И если бы можно было издеваться над самим собою в тысячу раз сильнее и заставить хохотать весь свет, то я бы это сделал! Взглянул я на себя в зеркало — и в моей совести точно ядро лопнуло! Я надсмеялся над собою и от стыда едва не сошел с ума. *(Смеется.)* Меланхолия! Благородная тоска! Безотчетная скорбь! Недостает еще, чтобы я стихи писал. Ныть, петь Лазаря, нагнать тоску на людей, сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я заржавел, отжил свое, что я поддался слабодушию и по уши увяз в этой гнусной меланхолии, — сознавать это, когда солнце ярко светит, когда даже муравей тащит свою ношу и доволен собою; — нет, слуга покорный! Видеть, как одни считают тебя за шарлатана, другие сожалеют, третьи протягивают руку помощи, четвертые, — что всего хуже, — с благоговением прислушиваются к твоим вздохам, глядят на тебя, как на второго Магомета, и ждут, что вот-вот ты объявишь им новую религию... Нет, слава богу, у меня еще есть гордость и совесть! Ехал я сюда, смеялся над собою и мне казалось, что надо мною смеются птицы, смеются деревья...

С а ш а. Это не злость, а сумасшествие!

И в а н о в. Ты думаешь? Нет, я не сумасшедший. Теперь я вижу вещи в настоящем свете, и моя мысль так же чиста, как твоя совесть. Мы любим друг друга, но свадьбе нашей не быть! Я сам могу беситься и киснуть сколько мне угодно, но я не имею права губить других! Своим нытьем я отравил жене последний год ее жизни. Пока ты моя невеста, ты разучилась смеяться и постарела на пять лет. Твой отец, для которого было все ясно в жизни, по моей милости перестал понимать людей. Еду ли я на съезд, в гости, на охоту, куда ни пойду, всюду вношу с собою скуку, уныние, недовольство. Постой, не перебивай! Я резок, свиреп, но, прости, злоба душит меня, и иначе говорить я не могу. Никогда я не лгал, не клеветал на жизнь, но, ставши брюзгой, я, против воли, сам того не замечая, клевету на нее, ропщу на судьбу, жалуюсь, и всякий, слушая меня, заражается отвращением к жизни и тоже начинает клеветать. А какой тон! Точно я делаю одолжение природе, что живу. Да чорт меня возьми!

С а ш а. Постой... Из того, что ты сейчас сказал, следует, что нытье тебе надоело, и что пора начать новую жизнь!.. И отлично!..

И в а н о в. Ничего я отличного не вижу. И какая там новая жизнь? Я погиб безвозвратно! Пора нам обоим понять это. Новая жизнь!

С а ш а. Николай, опомнись! Откуда видно, что ты погиб? Что за цинизм такой? Нет, не хочу ни говорить, ни слушать... Поезжай в церковь!

И в а н о в. Погиб!

С а ш а. Не кричи так, гости услышат!

И в а н о в. Если не глупый, образованный и здоровый человек без всякой видимой причины стал петь Лазаря и покати́л вниз по наклонной плоскости, то он катит уже без удержа, и нет ему спасения! Ну, где мое спасение? В чем? Пить я не могу — голова болит от вина; плохих стихов писать — не умею; молиться на свою душевную лень и видеть в ней нечто превыспреннее — не могу. Лень и есть лень, слабость есть слабость, — других названий у меня нет. Погиб, погиб — и разговоров быть не может! *(Оглядывается.)* Нам могут помешать. Слушай. Если ты меня любишь, то помоги мне. Сию же минуту, немедленно откажись от меня! Скорее...

С а ш а. Ах, Николай, если бы ты знал, как ты меня утомил! Как измучил ты мою душу! Добрый, умный человек, посуди: ну, можно ли задавать такие задачи? Что ни день, то задача, одна труднее другой... Хотела я деятельной любви, но ведь это мученическая любовь!

И в а н о в. А когда ты станешь моею женой, задачи будут еще сложнее. Откажись же! Пойми: в тебе говорит не любовь, а упрямство честной натуры. Ты задалась целью во что бы то ни стало воскресить во мне человека, спасти, тебе льстило, что ты совершаешь подвиг... Теперь ты готова отступить назад, но тебе мешает ложное чувство. Пойми!

С а ш а. Какая у тебя странная, дикая логика! Ну, могу ли я от тебя отказаться? Как я откажусь? У тебя ни матери, ни сестры, ни друзей... Ты разорен, имение твоё растащили, на тебя кругом клеветают...

И в а н о в. Глупо я сделал, что сюда приехал. Мне нужно было бы поступить так, как я хотел...

(Входит Лебедев.)

IX.

С а ш а *(бежит навстречу отцу)*. Папа, ради бога, прибежал он сюда, как бешеный, и мучает меня! Требует, чтобы я отказалась от него, не хочет губить меня. Скажи ему, что я не хочу его великодушия! Я знаю, что делаю.

Л е б е д е в. Ничего не понимаю... Какое великодушие?

И в а н о в. Свадьбы не будет!

С а ш а. Будет! Папа, скажи ему, что свадьба будет!

Л е б е д е в. Постой, постой!.. Почему же ты не хочешь, чтобы была свадьба?

И в а н о в. Я объяснил ей почему, но она не хочет понимать.

Л е б е д е в. Нет, ты не ей, а мне объясни, да так объясни, чтобы я понял! Ах, Николай Алексеевич! Бог тебе судья! Столько ты напустил туману в нашу жизнь, что я точно в кунсткамере живу: гляжу и ничего не понимаю... Просто наказание... Ну, что мне прикажешь, старику, с тобою делать? На дуэль тебя вызвать, что ли?

И в а н о в. Никакой дуэли не нужно. Нужно иметь только голову на плечах и понимать русский язык.

С а ш а (*ходит в волнении по сцене*). Это ужасно, ужасно! Просто как ребенок!

Л е б е д е в. Остается только руками развести и больше ничего. Послушай, Николай! По-твоему, все это у тебя умно, тонко, по всем правилам психологии, а, по-моему, это скандал и несчастье. Выслушай меня, старика, в последний раз! Вот что я тебе скажу: успокой свой ум! Гляди на вещи просто, как все глядят! На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий. Ты Сашу любишь, она тебя любит. Коли любишь — оставайся, не любишь — уходи, в претензии не будем. Ведь это так просто! Оба вы здоровые, умные, нравственные, и сыты, слава богу, и одеты... Что ж тебе еще нужно? Денег нет? Велика важность! Не в деньгах счастье... Конечно, я понимаю... имение у тебя заложено, процентов нечем платить, но я — отец, я понимаю... Мать, как хочет, бог с ней; не дает денег — не нужно. Шурка говорит, что не нуждается в приданом. Принципы, Шопенгауэр... Все это чепуха... Есть у меня в банке заветные 10 тысяч. (*Оглядывается.*) Про них в доме ни одна собака не знает... Бабушкины... Это вам обоим... Берите, только уговор лучше денег: Матвею дайте тысячи две...

(*В зале собираются гости.*)

И в а н о в. Паша, разговоры ни к чему. Я поступаю так, как велит мне моя совесть.

С а ш а. И я поступаю так, как велит мне моя совесть. Можешь говорить, что угодно, я тебя не отпущу. Пойду позову маму (*Уходит.*)

Х.

Л е б е д е в. Ничего не понимаю...

И в а н о в. Слушай, бедняга... Объяснять тебе, кто я — честен или подл, здоров или психопат, я не стану. Тебе не втолкуешь. Был я молодым, горячим, искренним, неглупым; любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десяти-

рых, сражался с мельницами, бился лбом об стены; не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы; я спешил расходовать себя на одну только молодость, пьянел, возбуждался, работал; не знал меры. И скажи: можно ли было иначе? Ведь нас мало, а работы много, много! Боже, как много! И вот, как жестоко мстит мне жизнь, с которою я боролся! Надорвался я! В 30 лет уже похмелье, я стар, я уже надел халат. С тяжелою головой, с ленивою душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу? И мне уже кажется, что любовь — вздор, ласки приторны, что в труде нет смысла, что песня и горячие речи пошлы и стары. И всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, недовольство, отвращение к жизни... Погиб безвозвратно! Перед тобою стоит человек, в 35 лет уже утомленный, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами; он сгорает со стыда, издевается над своею слабостью... О, как возмущается во мне гордость, какое душит меня бешенство! (Пошатываясь.) Эка, как я уходил себя! Даже шатаюсь... Ослабел я. Где Матвей? Пусть он свезет меня домой.

Г о л о с а в з а л е. Женихов шафер приехал!

XI.

Ш а б е л ь с к и й (входя). В чужом, поношенном фраке... без перчаток... и сколько за это насмешливых взглядов, глупых острот, пошлых улыбок... Отвратительные людишки!

Б о р к и н (быстро входит с букетом; он во фраке, с шаферским цветком). Уф! Где же он? (Иванову.) Вас в церкви давно ждут, а вы тут философию разводите. Вот комик! Ей-богу, комик! Ведь вам надо не с невестой ехать, а отдельно со мною, за невестой же я приеду из церкви. Неужели вы даже этого не понимаете? Положительно, комик!

Л ь в о в (входит, Иванову). А, вы здесь? (Громко.) Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец!

И в а н о в (холодно). Покорнейше благодарю.

(Общее замешательство.)

Б о р к и н (Львову). Милостивый государь, это низко! Я вызываю вас на дуэль!

Л ь в о в. Господин Боркин, я считаю для себя унижительным не только драться, но даже говорить с вами! А господин Иванов может получить удовлетворение, когда ему угодно.

Ш а б е л ь с к и й. Милостивый государь, я дерусь с вами!..

С а ш а (Львову). За что? За что вы его оскорбили? Господа, позвольте, пусть он мне скажет: за что?

Львов. Александра Павловна, я оскорблял не голословно. Я пришел сюда, как честный человек, чтобы раскрыть вам глаза, и прошу вас выслушать меня.

Саша. Что вы можете сказать? Что вы честный человек? Это весь свет знает! Вы лучше скажите мне по чистой совести: понимаете вы себя или нет! Вошли вы сейчас сюда, как честный человек, и нанесли ему страшное оскорбление, которое едва не убило меня; раньше, когда вы преследовали его, как тень, и мешали ему жить, вы были уверены, что исполняете свой долг, что вы честный человек. Вы вмешивались в его частную жизнь, злословили и судили его; где только можно было забрасывали меня и всех знакомых анонимными письмами, — и все время вы думали, что вы честный человек. Думая, что это честно, вы, доктор, не щадили даже его больной жены и не давали ей покоя своими подозрениями. И какое бы насилие, какую жестокую подлость вы ни сделали, вам все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человек!

Иванов (смеясь). Не свадьба, а парламент! Браво, браво!..

Саша (Львову). Вот теперь и подумайте: понимаете вы себя, или нет? Тупые, бессердечные люди! (Берет Иванова за руку.) Пойдем отсюда, Николай! Отец, пойдем!

Иванов. Куда там пойдем? Постой, я сейчас все это кончу! Проснулась во мне молодость, заговорил прежний Иванов! (Вынимает револьвер.)

Саша (вскрикивает). Я знаю, что он хочет сделать! Николай, бога ради!

Иванов. Долго катил вниз по наклону, теперь стой! Пора и честь знать! Отойдите! Спасибо, Саша!

Саша (кричит). Николай, бога ради! Удержите!

Иванов. Оставьте меня! (Отбегает в сторону и застреливается.)

Занавес.

Ч А Й К А.

Комедия в четырех действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.
Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.

Петр Николаевич Сорин, ее брат.

Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика.

Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сортина.

Полина Андреевна, его жена.

Маша, его дочь.

Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.

Евгений Сергеевич Дорн, врач.

Семен Семенович Медведенко, учитель.

Яков, работник.

Повар.

Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сортина. — Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Часть парка в имении Сортина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? *(В раздумьи.)* Не понимаю...

Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура. *(Садятся.)*

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего

23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

М а ш а (оглядываясь на эстраду). Скоро начнется спектакль.

М е д в е д е н к о. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая... Какая охота итти за человека, которому самому есть нечего?

М а ш а. Пустяки. (Нюхает табак.) Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. (Протягивает ему табакерку.) Одолжайтесь.

М е д в е д е н к о. Не хочется. (Пауза.)

М а ш а. Душно, должно быть, ночью будет гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет бóльшего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого...

(Входят справа Сорин и Треплев.)

С о р и н (опираясь на трость). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого сна у меня мозг прилип к черепу и все такое. (Смеется.) А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Т р е п л е в. Правда, тебе нужно жить в городе. (Увидев Машу и Медведенку.) Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

С о р и н (Маше). Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.

М а ш а. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. (Медведенку.) Пойдемте!

М е д в е д е н к о (Треплеву). Так вы перед началом пришли сказать. (Оба уходят.)

С о р и н. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть и все, но тут тебя так доймают всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. (Смеется.) Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда, в конце концов. Хочешь — не хочешь, живи...

Я к о в (Треплеву). Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Т р е п л е в. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. (*Смотрит на часы.*) Скоро начнется.

Я к о в. Слушаю. (*Уходит.*)

Т р е п л е в (*окидывая взглядом эстраду*). Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

С о р и н. Великолепно.

Т р е п л е в. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. (*Поправляет дяде галстук.*) Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

С о р и н (*расчесывая бороду*). Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил и все. Меня никогда не любили женщины. (*Садясь.*) Отчего сестра не в духе?

Т р е п л е в. Отчего? Скучает. (*Садясь рядом.*) Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

С о р и н (*смеется*). Выдумашь, право...

Т р е п л е в. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (*Посмотрев на часы.*) Психологический курьез — моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее несбыкновенною игрой в «*La dame aux camélias*» или в «Чад жизни», но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы — ее враги, все мы виноваты. Затем, она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч — это я знаю наверное. А попроси у нее займы, она станет плакать.

С о р и н. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожает.

Т р е п л е в (*обрывая у цветка лепестки*). Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. (*Смеется.*) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в ком-

нате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью.

С о р и н. Без театра нельзя.

Т р е п л е в. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. *(Смотрит на часы.)* Я люблю мать, сильно люблю; но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах, — и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я — ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я — киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, — я угадывал их мысли и страдал от унижения...

С о р и н. Кстати скажи, пожалуйста, что за человек этот беллетрист? Не поймешь его. Все молчит.

Т р е п л е в. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхолический. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло... Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

С о р и н. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть, в конце концов.

Т р е п л е в *(прислушивается)*. Я слышу шаги... *(Обнимает дядю.)* Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен.. Я счастлив безумно! *(Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.)* Волшебница, мечта моя...

Н и н а *(взволнованно)*. Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Т р е п л е в *(целует ее руки)*. Нет, нет, нет...

Н и н а. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой.

Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. *(Смеется.)* Но я рада. *(Крепко жмет руку Сорина.)*

С о р и н *(смеется)*. Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Н и н а. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Т р е п л е в. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

С о р и н. Я схожу и все. Сию минуту. *(Идет вправо и поет.)* «Во Францию два гренадера»... *(Оглядывается.)* Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный»... Потом подумал и прибавил: «Но... противный». *(Смеется и уходит.)*

Н и н а. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами. *(Оглядывается.)*

Т р е п л е в. Мы одни.

Н и н а. Кажется, кто-то там...

Т р е п л е в. Никого. *(Поцелуй.)*

Н и н а. Это какое дерево?

Т р е п л е в. Вяз.

Н и н а. Отчего оно такое темное?

Т р е п л е в. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Н и н а. Нельзя.

Т р е п л е в. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Н и н а. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Т р е п л е в. Я люблю вас.

Н и н а. Тсс.

Т р е п л е в *(услышав шаги)*. Кто там? Вы, Яков?

Я к о в *(за эстрадой)*. Точно так.

Т р е п л е в. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит?

Я к о в. Точно так.

Т р е п л е в. Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. *(Нине.)* Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Н и н а. Да, очень. Ваша мама — ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Т р е п л е в. Да.

Н и н а. Какие у него чудесные рассказы!

Т р е п л е в *(холодно)*. Не знаю, не читал.

Н и н а. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Т р е п л е в. Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

Н и н а. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь... *(Оба уходят за эстраду.)*

(Входят Полина Андреевна и Дорн.)

П о л и н а А н д р е е в н а. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Д о р н. Мне жарко.

П о л и н а А н д р е е в н а. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы — доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Д о р н *(напевает)*. «Не говори, что молодость сгубила».

П о л и н а А н д р е е в н а. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Д о р н. Мне 55 лет.

П о л и н а А н д р е е в н а. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Д о р н. Так что же вам угодно?

П о л и н а А н д р е е в н а. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Д о р н *(напевает)*. «Я вновь пред тобою»... Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это — идеализм.

П о л и н а А н д р е е в н а. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Д о р н *(пожав плечами)*. Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10—15 назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

П о л и н а А н д р е е в н а *(хватает его за руку)*. Дорогой мой!

Д о р н. Тише. Идут.

(Входят Аркадина под-руку с Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.)

Ш а м р а е в. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

Аркадина. Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! *(Садится.)*

Шамраев *(вздыхнув)*. Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. *De gustibus aut bene, aut nihil.*

(Треплев выходит из-за эстрады.)

Аркадина *(сыну)*. Мой милый сын, когда же начало?

Треплев. Через минуту. Прошу терпения.

Аркадина *(читает из Гамлета)*. «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!»

Треплев *(из Гамлета)*. «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?»

(За эстрадой играют в рожок.)

Треплев. Господа, начало! Прошу внимания! *(Пауза.)* Я начинаю. *(Стучит палочкой и говорит громко.)* О вы, почтенные, старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спим.

(Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.)

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. *(Пауза.)* Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. *(Показываются болотные огни.)*

Аркадина *(тихо)*. Это что-то декадентское.

Треплев *(умоляюще и с упреком)*. Мама!

Нина. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бедные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух. *(Пауза.)* Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в угорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь, когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас... *(Пауза; на фоне озера показываются две красных точки.)* Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина *(смеется)*. Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полпна Андреевна *(Дорну)*. Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев *(вспылив, громко)*. Пьеса коччена! Довольно! Занавес!

Аркадина. Что же ты сердишься?

Треплев. Довольно! Занавес! Подавай занавес! *(Топнул ногой.)* Занавес! *(Занавес опускается.)* Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... я... *(Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.)*

Аркадина. Что с ним?

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

Аркадина. Что же я ему сказала?

Сорин. Ты его обидела.

Аркадина. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как к шутке.

Сорин. Все-таки...

Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите, пожалуйста! Стало быть, устроил он

этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедают хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

С о р и н. Он хотел доставить тебе удовольствие.

А р к а д и н а. Да? Однакоже вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Т р и г о р и н. Каждый пишет так, как хочет и как может.

А р к а д и н а. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.

Д о р н. Юпитер, ты сердишься...

А р к а д и н а. Я не Юпитер, а женщина. *(Закуривает.)* Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

М е д в е д е н к о. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. *(Живо, Тригорину.)* А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат — учитель. Трудно, трудно живется!

А р к а д и н а. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой слavnый! Слышите, господа, поют? *(Прислушивается.)* Как хорошо!

П о л и н а А н д р е е в н а. Это на том берегу. *(Пауза.)*

А р к а д и н а *(Тригорину)*. Сядьте возле меня. Лет 10—15 назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и все романы, романы... Jeune première'ом и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую *(кивает на Дорна)*, доктор Евгений Сергееч. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако, меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. *(Громко.)* Костя! Сын! Костя!

М а ш а. Я пойду поищу его.

А р к а д и н а. Пожалуйста, милая.

М а ш а *(идет влево)*. Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! *(Уходит.)*

Н и н а *(выходя из-за эстрады)*. Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! *(Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)*

С о р и н. Bravo! bravo!

А р к а д и н а. Bravo! bravo! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Н и н а. О, это моя мечта! *(Вздыхнув.)* Но она никогда не осуществится.

А р к а д и н а. Кто знает? Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Н и н а. Ах, я так рада... *(Сконфузившись.)* Я всегда вас читаю...

А р к а д и н а *(усаживая ее возле)*. Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Д о р и. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Ш а м р а е в *(громко)*. Яков, подними-ка, братец, занавес! *(Занавес поднимается.)*

Н и н а *(Тригорину)*. Не правда ли, странная пьеса?

Т р и г о р и н. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная. *(Пауза.)* Должно быть, в этом озере много рыбы.

Н и н а. Да.

Т р и г о р и н. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Н и н а. Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

А р к а д и н а *(смеясь)*. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Ш а м р а е в. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галлерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галлерей: «Браво, Сильва!» — целой октавой ниже... Вот этак *(низким баском)*: браво, Сильва... Театр так и замер. *(Пауза.)*

Д о р и. Тихий ангел пролетел.

Н и н а. А мне пора. Прощайте.

А р к а д и н а. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Н и н а. Меня ждет папа.

А р к а д и н а. Какой он, право... *(Целуются.)* Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Н и н а. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

А р к а д и н а. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Н и н а *(испуганно)*. О, нет, нет!

С о р и н *(ей умоляюще)*. Оставайтесь!

Н и н а. Не могу, Петр Николаевич.

С о р и н. Оставайтесь на один час и все. Ну, что, право...

Н и н а *(подумав, сквозь слезы)*. Нельзя! *(Пожимает руку и быстро уходит.)*

А р к а д и н а. Несчастливая девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так

как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Д о р н. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

С о р и н *(потирая озябшие руки)*. Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

А р к а д и н а. Они у тебя, как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. *(Берет его под-руку.)*

Ш а м р а е в *(подавая руку жене)*. Мадам?

С о р и н. Я слышу — опять воет собака. *(Шамраеву.)* Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Ш а м р а е в. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. *(Идущему рядом Медведенку.)* Да, на целую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А ведь не певец, простой синодальный певчий.

М е д в е д е н к о. А сколько жалованья получает синодальный певчий? *(Все уходят, кроме Дорна.)*

Д о р н *(один)*. Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда эта девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Т р е п л е в *(входит)*. Уже нет никого.

Д о р н. Я здесь.

Т р е п л е в. Меня по всему саду ищет Машенька. Несносное создание.

Д о р н. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

(Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.)

Д о р н. Фуй, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Т р е п л е в. Так вы говорите — продолжать?

Д о р н. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Т р е п л е в. Виноват, где Заречная?

Д о р н. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе,

если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Т р е п л е в *(нетерпеливо)*. Где Заречная?

Д о р н. Она уехала домой.

Т р е п л е в *(в отчаянии)*. Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

(Маша входит.)

Д о р н *(Треплеву)*. Успокойтесь, мой друг.

Т р е п л е в. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

М а ш а. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Т р е п л е в. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Д о р н. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Т р е п л е в *(сквозь слезы)*. Прощайте, доктор. Благодарю... *(Уходит.)*

Д о р н *(вздыхнув)*. Молодость, молодость!

М а ш а. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... *(Нюхает табак.)*

Д о р н *(берет у нее табакерку и швыряет в кусты)*. Это гадко! *(Пауза.)* В доме, кажется, играют. Надо идти.

М а ш а. Погодите.

Д о р н. Что?

М а ш а. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... *(Волнуясь.)* Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Д о р н. Что? В чем помочь?

М а ш а. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! *(Кладет ему голову на грудь, тихо.)* Я люблю Константина.

Д о р н. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! *(Нежно.)* Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга.

А р к а д и н а *(Маше)*. Вот встанемте. *(Обе естают.)* Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?

Д о р н. Вы, конечно.

Аркадина. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. *(Садится.)* Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Дорн *(напевает тихо)*. «Расскажите вы ей, цветы мои»...

Аркадина. Затем, я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана *comme il faut*. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... *(Подбоченясь, прохаживается по площадке.)* Вот вам, — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Дорн. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. *(Берет книгу.)* Мы остановились на лабазнике и крысах...

Аркадина. И крысах. Читайте. *(Садится.)* Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. *(Берет книгу и ищет в ней глазами.)* И крысах... Вот оно... *(Читает.)* «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждаёт его посредством комплиментов, любезностей и угождений»... Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

(Идет Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина; Медведев катит за ними пустое кресло.)

Сорин *(тоном, каким ласкают детей)*. Да? У нас радость? Мы сегодня веселы, в конце концов? *(Сестре.)* У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Нина *(садится рядом с Аркадиной и обнимает ее)*. Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

Сорин *(садится в свое кресло)*. Она сегодня красивенькая.

Аркадина. Нарядная, интересная... За это вы умница. *(Целует Нину.)* Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Нина. Он в купальне рыбу удит.

Аркадина. Как ему не надоест! *(Хочет продолжать читать.)*

Н и н а. Это вы что?

А р к а д и н а. Мопассан «На воде», милочка. (*Читает несколько строк про себя.*) Ну, дальше неинтересно и неверно. (*Закрывает книгу.*) Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

М а ш а. У него нехорошо на душе. (*Нине, робко.*) Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Н и н а (*пожав плечами*). Вы хотите? Это так неинтересно!

М а ш а (*сдерживая восторг*). Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос, а манеры, как у поэта.

(*Слышно, как храпит Сорин.*)

Д о р н. Спокойной ночи!

А р к а д и н а. Петруша!

С о р и н. А?

А р к а д и н а. Ты спишь?

С о р и н. Нисколько.

(*Пауза.*)

А р к а д и н а. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.

С о р и н. Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет.

Д о р н. Лечиться в шестьдесят лет!

С о р и н. И в шестьдесят лет жить хочется.

Д о р н (*досадливо*). Э! Ну, принимайте валериановые капли.

А р к а д и н а. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.

Д о р н. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.

А р к а д и н а. Вот и пойми.

Д о р н. И понимать нечего. Все ясно.

(*Пауза.*)

М е д в е д е н к о. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.

С о р и н. Пустяки.

Д о р н. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу — он.

С о р и н (*смеется*). Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал, в конце концов, и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете склонность к философии, я же хочу жить и потому цю за обедом херес и курю сигары и все. Вот и все.

Д о р н. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.

М а ш а *(встает)*. Завтракать пора, должно быть. *(Идет ленивою, вялою походкой.)* Ногу отсидела... *(Уходит.)*

Д о р н. Пройдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

С о р и н. Личного счастья нет у бедняжки.

Д о р н. Пустое, ваше превосходительство.

С о р и н. Вы рассуждаете, как сытый человек.

А р к а д и н а. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль — куда лучше!

Н и н а *(восторженно)*. Хорошо! Я понимаю вас.

С о р и н. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон... на улице извозчики и все...

Д о р н *(напевает)*. «Расскажите вы ей, цветы мои»...

(Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна.)

Ш а м р а е в. Вот и наши. Добрый день! *(Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.)* Весьма рад видеть вас в добром здравьи. *(Аркадиной.)* Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

А р к а д и н а. Да, мы собираемся.

Ш а м р а е в. Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?

А р к а д и н а. На каких? Почему я знаю — на каких!

С о р и н. У нас же выездные есть.

Ш а м р а е в *(волнуясь)*. Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

А р к а д и н а. Но если я должна ехать? Странное дело!

Ш а м р а е в. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

А р к а д и н а *(вспылив)*. Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Ш а м р а е в *(вспылив)*. В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего! *(Уходит.)*

А р к а д и н а. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет! *(Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Тригорин с удочками и с ведром.)*

С о р и н *(вспылив)*. Это нахальство! Это чорт знает что такое! Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Н и н а (*Полине Андреевне*). Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

П о л и н а А н д р е е в н а (*в отчаянии*). Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

С о р и н (*Нине*). Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? (*Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.*) Невыносимый человек! Деспот!

Н и н а (*мешая ему встать*). Сидите, сидите... Мы вас доведем... (*Она и Медведев катят кресло.*) О, как это ужасно!..

С о р и н. Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним. (*Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.*)

Д о р н. Люди скучны. В сущности следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

П о л и н а А н д р е е в н а. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболеваю; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (*Умоляюще*). Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать... (*Пауза.*)

Д о р н. Мне 55 лет, уже поздно менять свою жизнь.

П о л и н а А н д р е е в н а. Я знаю, вы отказываете мне, потому что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

(*Нина показывается около дома; она рвет цветы.*)

Д о р н. Нет, ничего.

П о л и н а А н д р е е в н а. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Д о р н (*Нине, которая подходит*). Как там?

Н и н а. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Д о р н (*встает*). Пойти дать обоим валериановых капель...

Н и н а (*подает ему цветы*). Извольте!

Д о р н. Merci bien. (*Идет к дому.*)

П о л и н а А н д р е е в н а (*идя с ним*). Какие миленькие цветы! (*Около дома, глухим голосом.*) Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! (*Получив цветы, рвет их и бросает в сторону; оба идут в дом.*)

Н и н а (*одна*). Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голавлей.

Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Т р е п л е в *(входит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой)*. Вы одни здесь?

Н и н а. Одна.

(Треплев кладет у ее ног чайку.)

Н и н а. Что это значит?

Т р е п л е в. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Н и н а. Что с вами? *(Поднимает чайку и глядит на нее.)*

Т р е п л е в *(после паузы)*. Скоро таким же образом я убью самого себя.

Н и н а. Я вас не узнаю.

Т р е п л е в. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Н и н а. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, повидимому, символ, но, простите, я не понимаю... *(Кладет чайку на скамью.)* Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Т р е п л е в. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло, или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... *(Топнув ногой.)* Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... *(Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.)* Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. *(Дразнит.)* «Слова, слова, слова»... Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. *(Уходит быстро.)*

Т р и г о р и н *(записывая в книжку)*. Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Н и н а. Здравствуйте, Борис Алексеевич! ●

Т р и г о р и н. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в 18—19 лет,

и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще что вы за штучка.

Н и н а. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Т р и г о р и н. Зачем?

Н и н а. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Т р и г о р и н. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. *(Подумав.)* Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Н и н а. А если читаете про себя в газетах?

Т р и г о р и н. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Н и н а. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, — вы один из миллиона, — выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Т р и г о р и н. Я? *(Пожимая плечами.)* Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Н и н а. Ваша жизнь прекрасна!

Т р и г о р и н. Что же в ней особенно хорошего? *(Смотрит на часы.)* Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... *(Смеется.)* Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? *(Подумав немного.)* Бывают насильственные представления когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на-ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось, пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ах — нет, в голове уже ворочается тяжелое

чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что, вот-вот, подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Н и н а. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Т р и г о р и н. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеется.) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».

Н и н а. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Т р и г о р и н. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя, как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица,

затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и, в конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей.

Н и н а. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но признавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Т р и г о р и н. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли! (Оба улыбнулись.)

Н и н а. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... (Закрывает лицо руками.) Голова кружится... Уф!..

Г о л о с А р к а д и н о й (из дому). Борис Алексеевич!

Т р и г о р и н. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. (Оглядывается на озеро.) Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Н и н а. Видите на том берегу дом и сад?

Т р и г о р и н. Да.

Н и н а. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Т р и г о р и н. Хорошо у вас тут! (Увидев чайку.) А это что?

Н и н а. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Т р и г о р и н. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. (Записывает в книжку.)

Н и н а. Что это вы пишете?

Т р и г о р и н. Так, записываю... Сюжет мелькнул... (Прячет книжку.) Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

(Пауза.)

(В окне показывается Аркадина.)

А р к а д и н а. Борис Алексеевич, где вы?

Т р и г о р и н. Сейчас! (Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.) Что?

А р к а д и н а. Мы остаемся.

(Тригорин уходит в дом.)

Н и н а (подходит к рампе; после некоторого раздумья). Сон!

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкап с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки; заметны приготовления к отъезду. Тригорин завтракает, Маша стоит у стола.

Между третьим и четвертым действиями проходит два года.

М а ш а. Все это я рассказываю вам, как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Т р и г о р и н. Каким же образом?

М а ш а. Замуж выхожу. За Медведенка.

Т р и г о р и н. Это за учителя?

М а ш а. Да.

Т р и г о р и н. Не понимаю, какая надобность.

М а ш а. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Т р и г о р и н. А не много ли будет?

М а ш а. Ну, вот! *(Наливает по рюмке.)* Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И все водку или коньяк. *(Чокается.)* Желаю вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться. *(Пьют.)*

Т р и г о р и н. Мне самому не хочется уезжать.

М а ш а. А вы попросите, чтобы она осталась.

Т р и г о р и н. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым, — зачем толкаться?

М а ш а. Ну, и ревность. Впрочем, это не мое дело.

(Пауза. Яков проходит слева направо с чемоданом; входит Нина и останавливается у окна.)

М а ш а. Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. *(Крепко пожимает руку.)* Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте! *(Уходит.)*

Н и н а *(протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак).* Чёт или нечет?

Т р и г о р и н. Чёт.

Н и н а *(вздыхнув)*. Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: итти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Т р и г о р и н. Тут советовать нельзя. *(Пауза.)*

Н и н а. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: «Дни и ночи».

Т р и г о р и н. Как грациозно! *(Целует медальон.)* Преклестный подарок!

Н и н а. Иногда вспоминайте обо мне.

Т р и г о р и н. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какою вы были в тот ясный день — помните? — неделю назад, когда вы были в светлом платье... мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Н и н а *(задумчиво)*. Да, чайка... *(Пауза.)* Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... *(Уходит влево; одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.)*

А р к а д и н а. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? *(Тригорину.)* Это кто сейчас вышел? Нина?

Т р и г о р и н. Да.

А р к а д и н а. Pardou, мы помешали... *(Садится.)* Кажется, все уложила. Замучилась.

Т р и г о р и н *(читает на медальоне)*. «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Я к о в *(убирая со стола)*. Удочки тоже прикажете уложить?

Т р и г о р и н. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Я к о в. Слушаю.

Т р и г о р и н *(про себя)*. Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? *(Аркадиной.)* Тут в доме есть мои книжки?

А р к а д и н а. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Т р и г о р и н. Страница 121... *(Уходит.)*

А р к а д и н а. Право, Петруша, остался бы дома...

С о р и н. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

А р к а д и н а. А в городе что же?

С о р и н. Особенного ничего, но все же... *(Смеется.)* Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

А р к а д и н а *(после паузы)*. Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй. *(Пауза.)* Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Констан-

тин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

С о р и н. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же, в конце концов, ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

А р к а д и н а. Горе мне с ним! *(В раздумьи.)* Поступить бы ему на службу, что ли...

С о р и н *(нависывает, потом нерешительно)*. Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески и все. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без пальто... *(Смеется.)* Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

А р к а д и н а. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. *(Решительно.)* Нет у меня денег!

(Сорин смеется.)

А р к а д и н а. Нет!

С о р и н *(нависывает)*. Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

А р к а д и н а *(сквозь слезы)*. Нет у меня денег!

С о р и н. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пяточка. *(Смеется.)* Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелыдохнут, коровыдохнут, лошадей мне никогда не дают...

А р к а д и н а. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

С о р и н. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... *(Пошатывается.)* Голова кружится. *(Держится за стол.)* Мне дурно и все.

А р к а д и н а *(испуганно)*. Петруша! *(Стараясь поддержать его.)* Петруша, дорогой мой... *(Кричит.)* Помогите мне. Помогите!...

(Входят Треплев с повязкой на голове, Медведенко.)

А р к а д и н а. Ему дурно!

С о р и н. Ничего, ничего... *(Улыбается и пьет воду.)* Уже прошло... и все...

Т р е п л е в *(матери)*. Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. *(Дяде.)* Тебе, дядя, надо полежать.

С о р и н. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... *(Идет, опираясь на трость.)*

М е д в е д е н к о *(ведет его под руку)*. Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

С о р и н *(смеется)*. Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

М е д в е д е н к о Ну, вот, церемонии!.. *(Он и Сорин уходят.)*

А р к а д и н а. Как он меня напугал!

Т р е п л е в. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему займы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

А р к а д и н а. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

(Пауза.)

Т р е п л е в. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

А р к а д и н а *(достает из аптечного шкафа подоформ и щипик с перевязочным материалом)*. А доктор опоздал.

Т р е п л е в. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

А р к а д и н а. Садись. *(Снимает у него с головы повязку.)* Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. *(Целует его в голову.)* А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Т р е п л е в. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится. *(Целует ей руку.)* У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене, — я тогда был маленьким, — у нас во дворе была драка, сильно побили жилицу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

А р к а д и н а. Нет. *(Накладывает новую повязку.)*

Т р е п л е в. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

А р к а д и н а. Это помню.

Т р е п л е в. Богомольные они такие были. *(Пауза.)* В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?

А р к а д и н а. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Т р е п л е в. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

А р к а д и н а. Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда.

Т р е п л е в. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или

в саду смеется над нами... развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

Аркадина. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.

Треплев. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но, прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

Аркадина. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Треплев *(иронически)*. Настоящие таланты! *(Гневно.)* Я талантливее вас всех, коли на то пошло! *(Срывает с головы повязку.)* Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скряга!

Аркадина. Оборвыш!

(Треплев садится и тихо плачет.)

Аркадина. Ничтожество! *(Пройдясь в волнении.)* Не плачь. Не нужно плакать... *(Плачет.)* Не надо... *(Целует его в лоб, в щеки, в голову.)* Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня несчастную.

Треплев *(обнимает ее)*. Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Он сейчас уедет, она опять тебя полюбит. *(Утирает ему слезы.)* Будет. Мы уже помирились.

Треплев *(целует ей руки)*. Да, мама.

Аркадина *(нежно)*. Помиришь и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил... *(Входит Тригорин.)* Вот... Я выйду... *(Быстро убирает в шкаф лекарства.)* А повязку уже доктор сделает...

Тригорин *(ищет в книжке)*. Страница 121... строки 11 и 12... Вот... *(Читает.)* «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

(Треплев подбирает с полу повязку и уходит.)

Аркадина (*поглядывает на часы*). Скоро лошадей подадут.

Тригорин (*про себя*). Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приходи и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин (*нетерпеливо*). Да, да... (*В раздумьи.*) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль, и мое сердце так болезненно сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приходи и возьми ее. (*Аркадиной.*) Останемся еще на один день!

(*Аркадина отрицательно качает головой.*)

Тригорин. Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг... (*Жмет ей руку.*) Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня...

Аркадина (*в сильном волнении*). Ты так увлечен?

Тригорин. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

Аркадина. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Тригорин. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие дивные мечты... Отпусти...

Аркадина (*дрожая*). Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Тригорин. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, — на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла, наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

Аркадина (*с гневом*). Ты сошел с ума!

Тригорин. И пускай.

Аркадина. Вы все сговорились сегодня мучить меня! (*Плачет.*)

Тригорин (*берет себя за голову*). Не понимает! Не хочет понять!

Аркадина. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? (*Обнимает его и целует.*) О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты — последняя страница моей жизни! (*Становится на колени.*) Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (*Обнимает его колени.*) Если ты покинешь меня хотя на один час, то я не

переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Т р и г о р и н. Сюда могут войти. *(Помогает ей встать.)*

А р к а д и н а. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. *(Целует ему руки.)* Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу... *(Смеется.)* Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгуницу? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя, одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?..

Т р и г о р и н. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный — неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

А р к а д и н а *(про себя)*. Теперь он мой. *(Развязно, как ни в чем не бывало.)* Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Т р и г о р и н. Нет, уж поедем вместе.

А р к а д и н а. Как хочешь. Вместе, так вместе... *(Пауза.)*

(Тригорин записывает в книжку.)

А р к а д и н а. Что ты?

Т р и г о р и н. Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор...» Пригодится. *(Потягивается.)* Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Ш а м р а е в *(входит)*. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... В «Ограбленной почте» играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов, тоже личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и, когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов — «Мы попали в запандю»... *(Хочет)*. Запандю!.. *(Пока он говорит, Яков хлопчет около чемоданов, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки; все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери в*

глядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.)

Полина Андреевна (с корзиночкой). Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

Аркадина. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. (Плачет.)

Аркадина (обнимает ее). Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходит!

Аркадина. Что же делать!

Сорин (в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери; проходя через комнату). Сестра, пора, как бы не опоздать, в конце концов. Я иду садиться. (Уходит.)

Медведенко. А я пойду пешком на станцию... провожать. Я живо... (Уходит.)

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся... (Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.) Не забывайте меня. (Подает повару рубль.) Вот вам рубль на троих.

Повар. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Яков. Дай бог час добрый!

Шамраев. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

Аркадина. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. (Якову.) Я дала рубль повару. Это на троих.

(Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провозжат. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.)

Тригорин (возвращаясь). Я забыл свою трость. Она, кажется, там на террасе. (Идет к левой двери встречается с Ниной, которая входит.) Это вы? Мы уезжаем.

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. (Возбужденно.) Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я уйду от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Тригорин (оглянувшись). Остановитесь в «Славянском Базаре»... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь... (Пауза.)

Нина. Еще одну минуту...

Тригорин (вполголоса). Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся! (Она склоняется к нему)

на грудь.) Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя... *(Продолжительный поцелуй.)*

З а н а в е с.

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях. — Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. Медведенко и Маша входят.

М а ш а *(окликает)*. Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! *(Осматриваясь.)* Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

М е д в е д е н к о. Боится одиночества. *(Прислушиваясь.)* Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки.

М а ш а *(припускает огня в лампе)*. На озере волны. Громадные.

М е д в е д е н к о. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.

М а ш а. Ну, вот... *(Пауза.)*

М е д в е д е н к о. Поедем, Маша, домой!

М а ш а *(качает отрицательно головой)*. Я здесь останусь ночевать.

М е д в е д е н к о *(умоляюще)*. Маша, поедem! Наш ребенок, небось, голоден.

М а ш а. Пустяки. Его Матрена покормит. *(Пауза.)*

М е д в е д е н к о. Жалко. Уже третью ночь без матери.

М а ш а. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой, — и больше от тебя ничего не услышишь.

М е д в е д е н к о. Поедем, Маша!

М а ш а. Поезжай сам.

М е д в е д е н к о. Твой отец не даст мне лошади.

М а ш а. Даст. Ты попроси, он и даст.

М е д в е д е н к о. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

М а ш а *(нюхает табак)*. Ну, завтра. Пристал...

(Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится.)

М а ш а. Зачем это, мама?

П о л и н а А н д р е е в н а. Петр Николаевич просил постлатъ ему у Кости.

М а ш а. Давайте я... *(Постилает постель.)*

П о л и н а А н д р е е в н а *(вздыхнув)*. Старый, что малый... *(Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись; пауза.)*

М е д в е д е н к о. Так я пойду. Прощай, Маша. *(Целует у жены руку.)* Прощайте, мамаша. *(Хочет поцеловать руку у тещи.)*

П о л и н а А н д р е е в н а *(досадливо)*. Ну! Иди с богом.

М е д в е д е н к о. Прощайте, Константин Гаврилыч.

(Треплев молча подает руку; Медведев уходит.)

П о л и н а А н д р е е в н а *(глядя в рукопись)*. Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. *(Проводит рукой по его волосам.)* И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

М а ш а *(постилая)*. Оставьте его, мама.

П о л и н а А н д р е е в н а *(Треплеву)*. Она славненькая. *(Пауза.)* Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

(Треплев встает из-за стола и молча уходит.)

М а ш а. Вот и рассердили. Надо было приставать!

П о л и н а А н д р е е в н а. Жалко мне тебя, Машенька.

М а ш а. Очень нужно!

П о л и н а А н д р е е в н а. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

М а ш а. Все глупости. Безднадежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, — все забуду... с корнем из сердца вырву.

(Через две комнаты слышится меланхолический вальс.)

П о л и н а А н д р е е в н а. Костя играет. Значит, тоскует.

М а ш а *(делает бесшумно два-три тура вальса)*. Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

(Открывается левая дверь, Дорн и Медведев катят в кресле Сорина.)

М е д в е д е н к о. У меня теперь в доме шестеро. А мукъ семь гривен пуд.

Д о р н. Вот тут и вертись.

М е д в е д е н к о. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Д о р н. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспоконной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

М а ш а (мужу). Ты не уехал?

М е д в е д е н к о (виновато). Что ж? Когда не дают лошади!

М а ш а (с горькою досадой, вполголоса). Глаза бы мои тебя не видели!

(Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведевко, опечаленный, отходит в сторону.)

Д о р н. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

М а ш а. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может, когда угодно, выходить в сад и там думать.

(Стучит сторож.)

С о р и н. Где сестра?

Д о р н. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

С о р и н. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. (Помолчав.) Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Д о р н. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

С о р и н. Ну, начинается философия. О, что за наказание! (Кивнув головой на диван.) Это для меня постлано?

П о л и н а А н д р е е в н а. Для вас, Петр Николаевич.

С о р и н. Благодарю вас.

Д о р н (напевает). «Месяц плывет по ночным небесам»...

С о р и н. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». «L'homme qui a voulu». В молодости когда-то хотел ~~а~~ сделаться литератором — и не сделался; хотел красиво говорить — и говорил отвратительно (дразнит себя): «и все и все такое, того, не того»... и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться — и не женился; хотел всегда жить в городе — и вот кончаю свою жизнь в деревне и все.

Д о р н. Хотел стать действительным статским советником — и стал.

С о р и н (смеется). К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Д о р н. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь, — это не великодушно.

С о р и н. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Д о р н. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.

С о р и н. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Д о р н. Страх смерти — животный страх... Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых — какие у вас грехи? Вы 25 лет прослужили по судебному ведомству — только всего.

С о р и н (смеется). 28...

(Входит Треплев и садится на скамечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.)

Д о р н. Мы мешаем Константину Гаврилычу работать.
Т р е п л е в. Нет, ничего.

(Пауза.)

М е д в е д е н к о. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Д о р н. Генуя.

Т р е п л е в. Почему Генуя?

Д о р н. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Т р е п л е в. Должно быть, здорова.

Д о р н. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Т р е п л е в. Это, доктор, длинная история.

Д о р н. А вы покороче. (Пауза.)

Т р е п л е в. Она убежала из дому и сошлась с Тригоринным. Это вам известно?

Д о р н. Знаю.

Т р е п л е в. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а, по бесхарактерности, как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Д о р н. А сцена?

Т р е п л е в. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бра-лась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с за-вываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она

талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Д о р н. Значит, все-таки есть талант?

Т р е п л е в. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. *(Пауза.)* Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Д о р н. То-есть как, здесь?

Т р е п л е в. В городе, на постоялом дворе. Уже дней пять, как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

М е д в е д е н к о. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Т р е п л е в. Не придет она. *(Пауза.)* Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. *(Отходит с доктором к письменному столу.)* Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

С о р и н. Прелестная была девушка.

Д о р н. Что-с?

С о р и н. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Д о р н. Старый ловелас.

(Слышен смех Шамраева.)

П о л и н а А н д р е е в н а. Кажется, наши приехали со станции...

Т р е п л е в. Да, я слышу маму.

(Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев.)

Ш а м р а е в *(входя)*. Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... грация...

А р к а д и н а. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Т р и г о р и н *(Сорину)*. Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это вы все хвораете? Нехорошо! *(Увидев Машу, радостно.)* Марья Ильинична!

М а ш а. Узнали? *(Жмет ему руку.)*

Т р и г о р и н. Замужем?

М а ш а. Давно.

Т р и г о р и н. Счастливы? *(Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву).* Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

(Треплев протягивает ему руку.)

А р к а д и н а *(сыну)*. Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Т р е п л е в *(принимая книгу, Тригорину)*. Благодарю вас. Вы очень любезны. *(Садятся.)*

Т р и г о р и н. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печтаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как Железная Маска.

Т р е п л е в. Надолго к нам?

Т р и г о р и н. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть, и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом — старая история.

(Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его; Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкапа лото.)

Т р и г о р и н. Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати надо осмотреть сад и то место, где — помните? — играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

М а ш а *(отцу)*. Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Ш а м р а е в *(дразнит)*. Лошадь... домой... *(Строго.)* Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

М а ш а. Но ведь есть другие лошади... *(Видя, что отец молчит, машет рукой.)* С вами связываться...

М е д в е д е н к о. Я, Маша, пешком пойду. Право...

П о л и н а А н д р е е в н а *(вздыхнув)*. Пешком, в такую погоду... *(Садится за ломберный стол.)* Пожалуйста, господа.

М е д в е д е н к о. Ведь всего только шесть верст... Прощай... *(Целует жене руку.)* Прощайте, мамаша. *(Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.)* Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... *(Кланяется всем.)* Прощайте... *(Уходит; походка виноватая.)*

Ш а м р а е в. Небось, дойдет. Не генерал.

Полина Андреевна (*стучит по столу*). Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

(*Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.*)

Аркадина (*Тригорину*). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? (*Садится с Тригориным за стол.*) Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. (*Сдает всем по три карты.*)

Треплев (*перелистывая журнал*). Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. (*Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.*)

Аркадина. А ты, Костя?

Треплев. Прости, что-то не хочется... Я пройдуся. (*Уходит.*)

Аркадина. Ставка — гривенник. Поставьте за меня доктор.

Дорн. Слушаю-с.

Маша. Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорн. Так-с.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Шамраев. Не спеши.

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

(*За сценой играют меланхолический вальс.*)

Аркадина. Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... (*Снимает с груди брошь и бросает на стол.*)

Шамраев. Да, это вещь...

Маша. Пятьдесят!..

Дорн. Ровно пятьдесят?

Аркадина. На мне был удивительный туалет... Что-то, а уж одеться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играет. Тоскует бедный.

Шамраев. В газетах бранят его очень.

Маша. Семьдесят семь!

Аркадина. Охота обращать внимание.

Тригорин. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина (*оглянувшись на Сорина*). Петруша, тебе скучно? (*Пауза.*) Спит.

Д о р н. Слит действительный статский советник.

М а ш а. Семь! Девяносто!

Т р и г о р и н. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

М а ш а. Двадцать восемь!

Т р и г о р и н. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!

Д о р н. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, яркие, я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

А р к а д и н а. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

М а ш а. Двадцать шесть!

(Треплев тихо входит и идет к своему столу.)

Ш а м р а е в *(Тригорину)*. А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Т р и г о р и н. Какая?

Ш а м р а е в. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело.

Т р и г о р и н. Не помню. *(Раздумывая.)* Не помню!

М а ш а. Шестьдесят шесть! Один!

Т р е п л е в *(распахивает окно, прислушивается)*. Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

А р к а д и н а. Костя, закрой окно, а то дует.

(Треплев закрывает окно.)

М а ш а. Восемьдесят восемь!

Т р и г о р и н. У меня партия, господа.

А р к а д и н а *(весело)*. Браво! браво!

Ш а м р а е в. Браво!

А р к а д и н а. Этому человеку всегда и везде везет. *(Встает.)*

А теперь пойдете закусить чего-нибудь. Наша знаменитость на обедала сегодня. После ужина будем продолжать. *(Сыну.)*

Костя, оставь свои рукописи, пойдём есть.

Т р е п л е в. Не хочу, мама, я сыт.

А р к а д и н а. Как знаешь. *(Будит Сорина.)* Петруша, ужинать! *(Берет Шамраева под-руку.)* Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове...

(Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходит в левую дверь; на сцене остается один

Треплев за письменным столом.)

Т р е п л е в *(собирается писать; пробегает то, что уже написано)*. Я так много говорил о новых формах, а теперь чув-

ствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. *(Читает):* «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами»... Гласила, обрамленное... Это бездарно. *(Зачеркивает.)* Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно. *(Пауза.)* Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души. *(Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.)* Что такое? *(Глядит в окно.)* Ничего не видно... *(Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.)* Кто-то пробежал вниз по ступеням. *(Окликает.)* Кто здесь? *(Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.)* Нина! Нина!

(Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.)

Т р е п л е в *(растроганный)*. Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. *(Снимает с нее шляпу и тальму.)* О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Н и н а. Здесь есть кто-то.

Т р е п л е в. Никого.

Н и н а. Заприте двери, а то войдут.

Т р е п л е в. Никто не войдет.

Н и н а. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Т р е п л е в *(запирает правую дверь на ключ, подходит к левой)*. Тут нет замка. Я заставлю креслом. *(Ставит у двери кресло.)* Не бойтесь, никто не войдет.

Н и н а *(пристально глядит ему в лицо)*. Дайте, я посмотрю на вас. *(Оглядываясь.)* Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Т р е п л е в. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пустили меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Н и н а. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем. *(Садятся.)* Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите — ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я — чайка... Нет, не то. *(Трет себе лоб.)* О чем я?

Да... Тургенев... «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам»... Ничего *(Рыдает.)*

Т р е п л е в. Нина, вы опять... Нина!

Н и н а. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. *(Берет его за руку.)* Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Т р е п л е в. Зачем в Елец?

Н и н а. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Т р е п л е в. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, — я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Н и н а *(растерянно)*. Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Т р е п л е в. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

(Нина быстро надевает шляпу и тальму.)

Т р е п л е в. Нина, зачем? Бога ради, Нина... *(Смотрит, как она одевается; пауза.)*

Н и н а. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(Сквозь слезы.)* Дайте воды...

Т р е п л е в *(дает ей напиток)*. Вы куда теперь?

Н и н а. В город. *(Пауза.)* Ирина Николаевна здесь?

Т р е п л е в. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Н и н а. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. *(Склоняется к столу.)* Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(Поднимает голову.)* Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну, да! *(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.)* И он здесь... *(Возвращаясь к Треплеву.)* Ну, да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала ду-

хом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... *(Трет себе лоб.)* О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и, когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Т р е п л е в *(печально)*. Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Н и н а *(прислушиваясь)*. Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... *(Жмет ему руку.)* Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Т р е п л е в. Оставайтесь, я дам вам поужинать...

Н и н а. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, — чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?.. *(Читает.)* «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах»... *(Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)*

Т р е п л е в *(после паузы)*. Не хорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму...

(В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.)

цель... ..и великом.] Есть жизнь, есть нравственный закон, высший для нас закон... [Делайте добро!]

Во время работы над рассказом Чехов писал Л. Авиловой: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, — простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный *entourage*, [=обстановка, окружение], от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу». И далее: «Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской «Русской мысли»: уже написал, надо кончать» (25 июля).

Кантонисты = сыновья солдат, обучавшиеся в особых низших военных школах и составлявшие как бы особое сословие людей, закрепленных за военным ведомством.

О любви. Впервые напечатано в ж. «Русская мысль», 1898, № 8, под № III. С пропуском нескольких фраз включено Чеховым в Собрание сочинений 1903 г. т. XII и в посмертный т. XI. — Нами печатается текст посмертного тома XI.

При перепечатке были опущены следующие места:

[«...точно мальчик.»] Когда любишь, то какие открываешь в себе богатства, какую бездну нежности, ласковости и даже себе не веришь, что умеешь любить так глубоко».

[«ни одного слова правды.»] На самом деле, в доме Лугановича я вел себя вполне безупречно, так что минутами мне становилась тяжела до слез эта роль благородного существа».

Рассказ первоначально кончался иначе: [«...и находил ее красивой.»] — «Сегодня к вечеру мне нужно быть в городе, — сказал Иван Иванович, возвращаясь в комнату. — От вас я прямо на полустанок». — «Я вас провожу, — сказал Алехин, — но пешком теперь грязно; в пятом часу наши бабы поедут в Федотово за известкой, так вот кстати и подвезут нас. Надо только приказать, чтобы нам дали пораньше обедать».

И. Горбунов-Посадов писал о последних рассказах: «Славные ваши новые рассказы в «Русской мысли». Я уже хотел просить вас для интеллигентного издания, да последний [«О любви»] для нас не подходит по мысли, проводимой в конце, а без него вы, наверное, если бы и разрешили нам вообще, — то без него не разрешили бы» (ноябрь).

По отзыву «Биржевых ведомостей» (А. Измайлов. «Литературное обозрение». — 1898, 28 августа, № 234) последние три рассказа Чехова «не имеют никакой внутренней идейной связи», наличие общей внешней рамки не объединяет внутренне три наброска, не связанные ни общностью идеи, ни однородностью изображаемых типов. Однако рассказы эти «дышат глубокой житейской правдой, тонкой наблюдательностью и подкупающей сердечностью. Действуют живые люди, которыми полон свет... На восьми страницах уместается цельная, беспристрастно-верная, колоритная картинка жизни». Критик считает ненужной наличную в рассказах рамку и самый фон этой рамки поражает его своею траурностью. «Житейская пошлость возбуждает в авторе не иронию юмориста и не сарказм сатирика, но грусть впечатлительного поэта, и из-под пера его получается меланхолическая элегия». И критику кажется, что «в душе Чехова начинается тот перелом, который в свое время переживали многие из наших больших писателей... Художественные задачи отходят на задний план и ум устремляется к решению вопросов этики и религии». Этим критик объясняет и появление прозаического заглавия «О любви» — «более подходящего к философско-этическому трактату, чем к рассказу». — По оценке А. Богдановича (А. Б. «Критические заметки». — «Мир божий», 1898, № 10) «в «Крыжовнике» Чехов сумел представить один из самых распространенных типов обывательской пошлости, человеческого ничтожества, самодовольного и бесцельного прозябания». Критик видит связь этого рассказа с «Человеком в футляре» в том,

что здесь обрисована та среда, где властвует «Человек в футляре». «Герой рассказа — это живой представитель того мирка, где Человек в футляре в течение последних пятнадцати лет вытравил все человеческое, все сколько-нибудь возвышающееся над низменным уровнем будничной жизни». Рассказ же «О любви», по мысли критика, «проникнут все той же, щемящей сердце, нотой, как и оба предыдущие». «Этот рассказ усиливает впечатление ненормальности окружающей жизни, спутанности в ней самых простых отношений, безжалостности людей друг к другу, их неумения жить по-человечески». — По отзыву «Сына отечества» (А. Скабичевский. «Текущая литература». — 1898, 11 сентября, № 245) в последних рассказах Чехов показал «безыдейность жизни» — «отсутствие в ней всяких разумных и широких целей, искания мнимого счастья в какой-нибудь узенькой, ничего не стоящей эгоистичной задачке и пугливый отказ от мало-мальски решительного, рискованного шага к достижению более высоких целей». Герой «Крыжовника» поставил себе цель, но Чехов «и показал нам, до какого скотоподобия способна довести человека подобная цель». Герой рассказа «О любви» в свою очередь является человеком, вся «жизнь которого ушла на достижение никому не нужных пустяков». — По оценке Н. Минского («Русская литература за 1898 г.» — «Новости», 1899, 28 января, № 28) в двух последних рассказах Чехова «чуется легкая усталость автора, какая-то деланная простота языка и некоторая, как бы преждевременная маститость».

Ионыч. Впервые напечатано в «Ежемесячных литературных приложениях к «Ниве», 1898, № 9, сентябрь, с. 1—23, с подзаголовком: (Рассказ). С одним словарным изменением включено Чеховым в Собрание сочинений 1901 г. т. IX и 1903 г. т. XII. — Нами печатается текст 1901 г.

При перепечатке изменено слово: [«...и ему стало»] стыдно — на «неловко». Кладбище с надписью на воротах в рассказе описано Чеховым с таганрогского кладбища.

Умри, Денис, лучше не напишешь = фраза, сказанная будто бы Фонвизину Потемкиным после написания комедии «Недоросль»; *dites que l'on nous donne du thé* = (франц.) «скажите, чтобы нам дали чай»; *Отелло* = герой одноименной трагедии английского писателя Шекспира.

Случай из практики. Впервые напечатано в ж. «Русская мысль», 1898, № 12, декабрь, с. 188—198, с подзаголовком: (Рассказ). С пропуском подзаголовка и с незначительными стилистическими исправлениями включено Чеховым в Собрание сочинений 1901 г. т. IX и 1903 г. т. XII. — Нами печатается текст 1901 г.

Рассказ был послан Чеховым в журнал еще 16 ноября, а 29 ноября Чехов писал В. Гольцеву: «Я послал вам свой рассказ «Случай из практики», просил корректуру, но от вас, как говорится, ни слуху, ни духу. Очевидно, рассказ, если он не забракован, успеет попасть только в янв. книжку. Если так, то все-таки поторопитесь прислать корректуру». Тотчас же после напечатания рассказа М. Меньшиков, прося у Чехова рассказа для журнала «Неделя», писал: «Ваш удивительный рассказ в «Русской мысли» чрезвычайно понравился семье Гайдебуровых и еще более обострил аппетит редактора. О рассказе этом в январской книжке будет особая статья» (30 ноября).

В печати рассказ вызвал разноречивые оценки. А. Скабичевский писал («Текущая литература». — «Сын отечества», 1898, 25 декабря, № 350): «В своем рассказе Чехов дает образчики поразительной нелепости капиталистического фрукта, возросшего на русской почве». — По мнению критика «Русских ведомостей» (И—т. «Новости литературы и журналистики». — 1898, 19 декабря, № 289), рассказ Чехова, по интересу, художественности и искренности не уступающий лучшим из его рассказов, имеет и ряд недостатков. Так, заключительные мысли доктора мало гармонируют с тем впечатлением, которое он вынес из своего путешествия; между посылками и заключением в рассказе существует какой-то пропуск. Кроме того, доктор поторопился с обобщениями, так как «само положение действующих лиц представляется нам не трагическим, а комическим»... «Из рассказа не видно, чтобы болезненное

состояние богатой наследницы вызвано было процессом, аналогичным тому, который много лет назад привел к образованию «кающегося дворянина». — По отзыву А. Богдановича (А. Б. «Критические заметки». — «Мир божий», 1899, № 2) рассказ — «чудесный по яркости художественного выполнения» — превосходно очерчивает настроение «мятущейся души», подавленной непосильным бременем жизни. Однако «Случай из практики» есть именно только «случай», не поддающийся обобщению. Из сложной картины жизни Чехов выхватывает один момент, но момент важный, ярко подчеркивающий «на хаотическом фоне житейской неурядицы всю нелепость исключительно личной жизни, не осмысленной и неупорядоченной одной общей, все объединяющей идеей, которая могла бы служить руководящей нитью сквозь мрак и хаос удручающей современности». Такие моменты поучительны, потому что в них с особой силой чувствуется «вся слабость уединенной личности, ее роковая зависимость от стихийной силы, действительно оказывающейся «дьяволом» для личности, не понимающей значения этой силы».

Новая дача. Впервые напечатано в газ. «Русские ведомости», 1899, № 3, 3 января, с. 2—3, с подзаголовком: (Рассказ). С пропуском подзаголовка и с незначительными исправлениями в пунктуации включено Чеховым в Собрание сочинений 1901 г. т. IX и 1903 г. т. XI. — Нами печатается текст 1901 г.

В Музее Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина хранится вырезка рассказа, на которой рукою Чехова, видимо, перед включением рассказа в «Собрание сочинений», зачеркнут подзаголовок и слово «темных» в фразе: «...детских голов — белокурых, темных, рыжих».

Рассказ был послан в ответ на просьбу Д. Анучина (10 декабря 1898) дать рассказ в газету. Чехов ответил согласием и 24 декабря выслал рассказ В. Соболевскому, на что от последнего помимо благодарственной телеграммы получил извещение: «Рассказ помещаю в воскресном (3 января) номере газеты. Надеюсь, что он не будет тронут цензурской рукой, хотя за одно местечко (о богатых и сытых) не ручаюсь: это bête noire нашего цензора, с которым до сих пор приходится иметь дело» (1 января 1899).

В отзыве критики «Биржевых ведомостей» (А. Измайлов. «Литературное обозрение». — 1899, 15 января, № 14) — «написанная в обычной манере талантливого беллетриста миниатюра живо затрагивает один из проклятых вопросов русской жизни — страшную рознь, какая лежит между барином и мужиком, устраняя всякую возможность не только слияния или сближения, но даже простой солидарности, и делая трагедии из самых пустых жизненных столкновений». — А. Богданович (А. Б. «Критические заметки». — «Мир божий», 1899, № 2) утверждал, что «по художественности «Новая дача», пожалуй, лучшая вещь из написанных за последнее время Чеховым. В ней все движение и жизнь, крестьянские типы очерчены с тонким юмором, «смягчающим резкость и неприглядность мрачной деревенской жизни». «Тема, затронутая Чеховым, не новая и часто служила для Г. Успенского иллюстрацией непримиримости деревенского мирозерцания и кающегося интеллигента. Только Успенский обобщал эти столкновения, видя в них продукт старых крепостных отношений... Теперь же старые воспоминания значительно сгладились, но не создалась зато и новая почва, на которой обе стороны могли бы сойтись, как равные». «Рассказ Чехова проникнут настроением печали, грустного сознания ненужности того, что делается, и тоски о лучших человеческих отношениях между людьми, теперь такими чуждыми друг другу, разрозненными и одинокими».

Душечка. Впервые напечатано в ж. «Семья», 1899, № 1, январь (ценз. дата 31 декабря 1898), с. 2—6, с подзаголовком: (Рассказ). С незначительными исправлениями включено Чеховым в «Собрание сочинений» 1901 г. т. IX и 1903 г. т. XII. — Нами печатается текст 1901 г.

В течение 1897—1898 гг. Н. Эфрос неоднократно обращался к Чехову с просьбой дать рассказ для журнала «Семья» и для газеты «Новости дня». В начале декабря 1898 рассказ был послан Чеховым и тогда же (9 декабря) Н. Эфрос запросил у Чехова телеграммой разрешения напечатать рассказ в рождественском номере газеты. Чехов, видимо, ответил отказом, так как

Н. Эфрос ему писал: «Все ваши желания, конечно, исполню в точности: рассказ помещу в один прием, в «Семье» и не в рождественском номере, раз вы этого не хотите... Корректуру вышлю». Вскоре после напечатания рассказа М. Меншиков писал Чехову: «Рассказ ваш всем очень нравится. Наднях получил письмо из Москвы, где одна дама, очень дружная с Толстым, пишет мне: «Читал [Лев Н.] вчера нам два рассказа Чехова. Оба хороши, но в одном из них он уж слишком с юмористической стороны смотрит на женщину, выставляя ее доброй до глупости, не имеющей ничего своего, смотрящей на все глазами мужчины. Написано очень хорошо, талантливо, Лев Ник., да и все, очень смеялись. Он находит, что Чехов великий талант, великий писатель» (19 января). Об отзыве Л. Толстого о рассказе писали Чехову и другие корреспонденты. Так И. Горбунов-Посадов сообщал Чехову: «...в Москве Лев Н. прочел мне (и еще собравшимся людям), чудесно, с увлечением прочел два ваших новых [рассказа] «По делам службы» и «Душечка». Оба очень хороши, особенно «Душечка». Это гоголевская совершенно вещь. «Душечка» останется так же в нашей литературе, как гоголевские типы, ставшие нарицательными... Лев Н. в восторге от нее. Он все говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением». (24 января). По поводу сообщенного ему отзыва Л. Толстого о рассказе Чехов писал А. Суворину: «Я недавно написал юмористический рассказ в 1/2 листа и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо» (27 января). И о том же в письме к М. Чеховой 4 февраля. Еще раз о чтении рассказа Л. Толстым писала Чехову дочь Л. Толстого — Т. Л. Толстая: «Ваша «Душечка» прелесть! Отец ее читал четыре раза подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи. У меня стол был набит номерами «Семьи» и я насилу сохранила себе один экземпляр». (30 марта). Тот же отзыв Л. Толстого привел позднее в письме к Чехову и М. Меншиков: «О «Душечке» Толстой выразился, что он поумнел, прочитав ее» (14 сентября 1899).

Л. Толстым рассказ «Душечка» был перепечатан в составленный им сборник избранных изречений и художественных произведений «Круг чтения» 1906 г., но перепечатан с пропусками и переделками. Эти пропуски и переделки были сделаны предварительно Л. Толстым на экземпляре т. XII «Сочинений» Чехова, находящемся в Яснополянской библиотеке Л. Толстого. Обработка Л. Толстого коснулась следующих мест: — 1. Пропуск сна Оленьки о том, как целый полк бревен шел войной на лесной склад. — 2. Переделка места о том, как ужасно не иметь никаких мнений. — 3. Устранение двукратного на близком расстоянии упоминания о том, что на душе у Оленьки отдавало полынью. — 4. Пропуск внешней черты наружности Кукина («и когда говорил, то кривил рот») — 5. Пропуск: [о том, что мужчины думали:] «Да, ничего себе». — 6. Пропуск: ...«И когда он увидел как следует ее шею и полные, здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» (См. А. Грузинский. «Яснополянская библиотека». — «Толстовский ежегодник», 1912, с. 139).

Помещая рассказ в «Круге чтения», Л. Толстой снабдил его послесловием, в котором пояснил идею рассказа. По мнению Л. Толстого, автор хотел посмеяться над жалким, по его рассуждению (но не по чувству), существом «Душечки» и рассыпал в рассказе много смешных лиц и смешных черточек, но «не смешна, а свята, удивительна душа «Душечки» с своей способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит». И сравнивая намерение Чехова с образом библейского Валаама, призванного проклясть народ израильский и вместо этого, по велению бога, его благословившего, Л. Толстой говорил о Чехове: «Он, как Валаам, намеревался проклясть, но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда остается образцом того, чем может быть женщина и для того, чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем сводит ее судьба. Рассказ этот оттого такой прекрасный, что он вышел бес-сознательно».

было, будьте покойны, пришлю. Только вот одно; как бы моей «Невесте» не досталось от гг. женихов, блюдущих чистоту вашего журнала!» (9 февр.). Однако в феврале рассказ не был окончен, и письма Чехова к О. Книппер этого времени свидетельствуют о том, как он относился к писанию и к теме своего рассказа: «Я тебе ничего не сообщаю про свои рассказы, которые пишу, потому что ничего нет ни нового, ни интересного. Напишешь, прочтешь и видишь, что это уже было, что это уже старо, старо... Надо бы чего-нибудь новенького, кисленького!» (23 февр.). Или в другом письме с упоминанием о «Невесте», как уже о посланном в журнал рассказе: «Ты сердишься, что я ничего не пишу тебе о рассказах, вообще о своих писаниях. Но... мне до такой степени надоело все это, что кажется, что и тебе и всем это уже надоело и что ты только из деликатности говоришь об этом. Кажется, но — что же я поделаю, если кажется? Один рассказ, именно «Невеста», давно уже послан в «Журнал для всех», пойдет вероятно в апрельской книжке, другой рассказ начат, третий тоже начат» (1 марта). Еще раз: «Такие рассказы я уже писал, писал много раз, так что ничего не вычитаешь» (23 марта). И позднее: «Мне кажется, что я, как литератор, уже отжил, и каждая фраза, какую я пишу, представляется мне никуда не годной и ни для чего не нужной» (20 сентября). Вскоре после получения рассказа в редакции он стал набираться, и в июле Чехов возвращал В. Миролюбову корректуру рассказа. Одновременно он писал Вересаеву (В. Смидовичу): «Рассказ «Невеста» искромсал и переделал в корректуре» (5 июня). С последним упоминанием Чехова должно поставить в связь воспоминание В. Вересаева о чтении у Горького в присутствии Чехова рассказа в корректурных листах («А. П. Чехов и встречи с ним». — «Красная панорама», 1929, 13 июля, № 28). Надя в этом чтении уходила не в учебу (как в печатной редакции рассказа), а в революцию. И на замечание В. Вересаева, что «не так девушки уходят в революцию», Чехов, как вспоминает В. Вересаев, сказал: «Туда разные бывают пути».

По напечатании рассказа И. Горбунов писал Чехову: «А какая светломилая, трогательная Невеста ваша! И как жаль, что и она, бедняжка, должна сейчас же быть взята в заточение к Черномору — Марксу» (январь 1904).

Критика отметила новые мотивы в рассказе Чехова и по-разному осветила эти мотивы. А. Богданович писал (А. Б. «Критические заметки». — «Мир божий», 1904, № 11): «Невеста» — прелестный, чудно выписанный образ, который нам представляется символом глубокого значения, далеко выходящим за рамки простого рассказа о том, как Надя мечтала о замужестве и чем окончились ее мечты». По характеристике А. Богдановича — «Бодрый, сильный аккорд, заканчивающий эту прелестную вещь, звучит в душе читателя, как победный клич, как торжество жизни над мертвой скукой и пошлостью серой и однообразной обыденности. Невеста исчезла, явился человек и читателю за него не страшно...». «Невеста» Чехова — это живой и яркий символ всего живого, протестующего, не укладывающегося в устарелые рамки серой провинциальной жизни... Надя и ее подруги, все, что решили перевернуть жизнь, несут в себе новую культуру, новые устои для «бабушкина дома», куда они вносят светлые надежды, желание по-иному устроить этот дом и знание, как это сделать... Мажорный конец этой повести подчеркивает тот внутренний переворот, который совершился во взглядах писателя на жизнь. Нет больше тоски и отрицания, призывом к жизни и радостью проникнуто все произведение». — Примыкая в основном к оценке А. Богдановича, критик «Правды» И. Джонсон отметил («Чехов и его рассказ «Невеста». — 1904, № 5): «Ни одной ноты сомнения, нерешительности, хоть небольшой тревоги за будущее героини, хоть какого-нибудь скептического штриха не допущено автором в этом произведении. Избыток сил и светлой молодой веры так и брызжет на читателя из всей картины душевного настроения Нади». По мнению критика, рассказ страдает большой схематичностью: «...в маленькую рамку заключено слишком значительное содержание, вследствие чего некоторые части его остались без надлежащей разработки». Так, эскизно обрисован Андрей Андреевич, его отец и сама Надя, едва намечена пошлость среды. В итоге: «...рассказ надо изучать как новую главу из истории чеховского духа». —

Существенную поправку к такому подходу к рассказу внес В. Шулятиков («Критические этюды». — «Курьер», 1903, 24 декабря № 296). Он отметил, что в рассказе Чехов «впервые выводит перед читателями «положительный» тип. Героиня рассказа не только разрывает путы, связывающие ее с «мещанским царством», но и не обнаруживает, после того как путы были порваны, черт внутренней раздвоенности и внутреннего банкротства». «Мажорным аккордом завершается рассказ. И в этом аккорде его главный интерес. Этот финал, говорящий о «живой» жизни, зовущий к ней, звучит, действительно, как нечто «новое» в устах Чехова». Но далее критик предупреждает, что не следует преувеличивать ценность этого финала. Чехов действительно «чувствует биение «пульса времени» и старается своими произведениями ответить общему тону, начинающему доминировать в «реальной» жизни. Но процесс «нарастания» жизни воспринимается им как «идеологом» общественной группы, не стоящей на «большой дороге» истории, под своеобразным углом зрения: этот процесс в его глазах носит характер чего-то стихийного, фатальным образом развивающегося, помимо какого-то ни было воздействия и вмешательства со стороны человеческих существ». И далее: «Силы своего художественного дарования Чехов расходует на критику «мещанского царства». «Мещанство» в его глазах источник всех человеческих бедствий и зла... Нет сомнения, что критика «мещанства» существенно важна и необходима». Но, по мнению критика, нельзя исчерпывать критикой «мещанства» свою писательскую миссию, «нельзя рассматривать «мещанство» вне связи с остальными феноменами общественной жизни». Свои наблюдения над реальной жизнью Чехов сводит, по утверждению критика, к наблюдениям над «двумя обрывками действительности»: над миром интеллигентов, замкнувшихся в круг «эгоцентрических» интересов, и над миром хозяев «мещанского царства». И в своем мировоззрении Чехов, естественно, повторяет существенные черты мировоззрения первых. В новом же рассказе Чехов «старается внести некоторые поправки в свое мировоззрение», но при этом «все же о с н о в своего мировоззрения он не изменяет. По-прежнему он остается прежде всего «протестантом» против «мещанства» и преломляет новые впечатления сквозь призму старых. Во внутренний мир своих героев, долженствующих явиться выразителем «новых веяний», он вкладывает элементы «старого содержания». И в то же время «специфических особенностей, характеризующих нарастание «новой» жизни, он, в сущности, никаких не указывает». Критику кажется, что Саша ничего замечательного не сказал, никаких важных разъяснений относительно запросов и тенденций текущего исторического момента не сделал, задачи «новой жизни» Наде, когда она уже стоит на новом пути, кажутся неясными и неопределенными, и автор оставляет их невыясненными до конца. «Он предложил читателям лишь гимн инстинктивной, стихийной веры в жизнь». — Критик «Мирного труда» (Х. В. «Чехов. «Невеста». — 1903, № 2) отметил, что «первое впечатление от рассказа, представляющего своего рода «сгущенный роман» даже с эпилогом, таково, что вы готовы почувствовать что-то бодрящее, жизнерадостное... Но перечитывая еще раз рассказ, вы чувствуете всю невысоту духовного уровня и главной героини Нади, заурядного обыкновенного существа, силой вещей поставленного в героическое положение. Героя нет и в этом рассказе, но схвачен героический момент». — М. Гершензон в своем отзыве («Литературное обозрение». — «Научное слово», 1904, № 1) оценил рассказ так: «Многое здесь по-прежнему удивительно — прежде всего этот тонкий аромат поэзии, разлитой в каждой строке, потом чудесная н е о б х о д и м о с т ь каждой картины, каждой фразы в разговорах, наконец, неподражаемая прелесть языка...» И сделал оговорку: «Однако в этом тонком рисунке невольно бросаются в глаза два места, оставшиеся как бы пустыми: бессонная ночь Нади, — слишком поверхностно и бедно, так что читателю не передается настроение этой ночи; еще слабее 6-я глава, где новой Нади почти совсем не видать».

На большой дороге. Печатается по рукописи (писарский почерк), находящейся в Центральной библиотеке Русской драмы за № 51602.

Пьеса явилась переделкой Чеховым раннего рассказа «Осенью», напечатанного в ж. «Будильник», 1883, № 37. Пьеса была представлена осенью 1885 г. в цензуру для разрешения к постановке и была запрещена (К. Феоктистовым) 20 сентября 1885 г. по рапорту цензора Кейзер фон-Нилькгейма. В этом рапорте цензор пересказывал содержание пьесы, подчеркивая, что в ней выведен «разорившийся дворянин, который умоляет целовальника дать ему выпить в долг» и дал заключение — «Мрачная и грязная пьеса эта, по моему мнению, не может быть дозволена к представлению».

Лебединая песня (Калхас). Пьеса под заглавием «Калхас» была помещена в сборнике «Сезон», 1887, вып. I. В январе 1888 г. по тексту, специально представленному в драматическую цензуру, она была разрешена к представлению на сцене и 19 февраля того же года впервые была исполнена на сцене театра Корша в Москве (роль Светловидова — В. Давыдов). В ноябре 1888 г. под заглавием «Лебединая песня» (Калхас) с немногими изменениями текста отлитографирована Е. Рассохиной (Москва) и в 1889 г. отпечатана в журнале «Артист», кн. 11, октябрь. 19 января 1890 г. исполнена на Александринской сцене в бенефис П. С. Свободина, игравшего Светловидова. Включена Чеховым в сборник «Пьесы», 1897 г. и далее в Собрание сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. — Нами печатается текст 1901 г.

В тексте 1888 г. пьеса кончалась монологом из «Отелло» — «О если бы угодно было небу...» К цензурованному же экземпляру пьесы был приложен вариант конца с другим монологом Отелло — «Прости, покой, прости, мое довольство!», которым пьеса заканчивалась в литографированном издании. В печатном издании была добавлена реплика Никиты Ивановича и конец монолога Чацкого из «Горе от ума».

Пьеса явилась в результате переделки Чеховым рассказа «Калхас» 1886 г. Работая над пьесой в 1887 г., Чехов писал М. В. Киселевой: «Я написал пьесу на 4-х четвертушках. Игратья она будет 15—20 минут. Самая маленькая драма во всем мире. Играть в ней будет известный Давыдов, служащий теперь у Корша. Печатается она в «Сезоне», а посему всюду разойдется. Вообще маленькие вещи гораздо лучше писать, чем большие: претензий мало, а успех есть... что же еще нужно? Драму свою писал я 1 час и 5 минут. Начал другую, но не кончил, ибо некогда» (14 января). В письме к А. Плещееву от 17 октября 1888 г. Чехов просил пропустить в литературном комитете пьесу и при этом дал такую ее характеристику: «Достоинства в пьесе отсутствуют; значения ей я не придаю никакого, но дело в том, что Ленскому [= А. П., артисту Малого театра в Москве] хочется во что бы то ни стало сыграть ее на малой сцене». Одновременно Чехов извещал А. Ленского об изменении заглавия водевиля: «Я назвал Калхаса Лебединой песней. Название длинное, кисло-сладкое, но другого придумать никак не мог, хотя думал долго» (26 октября). О тексте, напечатанном в «Сезоне», Чехов позднее писал Ф. Куманину, пожелавшему напечатать пьесу в ж. «Артист», что он был напечатан в «Сезоне» Кичеева, но не целиком, а в сильно сокращенном виде: «... в «Сезоне» я дал только часть первого монолога» (5 сентября 1889).

Медведь. Написан Чеховым в сентябре 1888 г., и тогда же был представлен в драматическую цензуру. Отлитографирован в октябре 1888 г. Е. Рассохиной (Москва), и с этого времени пьеса многократно ставилась на сцене столичных и провинциальных театров, долгие годы не сходя с репертуара. Напечатана впервые в газ. «Новое время», 1888, № 4491, 30 августа, под инициалами: А. П.; далее в ж. «Артист», 1890, кн. 6, февраль; также в ж. «Будильник», 1893, № 40—42 (в добав. листах); также в сборнике «Для домашних и любительских спектаклей». М., 1895. (Перепечатка водевиля в последнем сборнике вызвала протест Чехова.) Включен Чеховым в сборник «Пьесы» 1897 г. и далее в Собрание сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. — Нами печатается текст 1901 г.

[Перепечатывая текст водевиля, Чехов исправлял его стилистически. В тексте, впервые представленном в цензуру, цензором были сняты некоторые фразы: [Явл. 5... «Ну, погодите же!» Вы узнаете у меня Сидорову козу и

Кузькину мать, в рот вам дышло, сто чертей и одна ведьма!» — [Явл. 8... «но все женщины...»] шkodливы как кошки, трусливы как зайцы...» — [Явл. 9... «Бурбон вы этакый!»] Бревно грубое!»

Получив рукопись водевиля для напечатания в газете, сын Суворина, А. А. Суворин, писал Чехову: «Рукопись трагедии уже послана в редакцию. Она весело читается, но на сцене по своей невероятности она потребует хороших исполнителей, чтобы показаться вероятной. Впрочем, она из тех, за которые хватаются часто, обольщаясь чрезвычайной простотой «дела». Значит, ход ей будет, и ваших ожиданий она не обманет» (август 1888). А. Плещеев писал Чехову: «А ведь это вы написали в Н. В. шутку «Медведь»? Мне кажется на сцене она была бы очень забавна. Я по некоторым штришкам узнал вашу руку» (13 сентября). И. Леонтьев-Щеглов писал: «Ваш «Медведь» мне очень понравился — написан бегло, ярко и стильно, именно так, как надо писать подобные вещи» (12 сентября). Успех водевиля на сцене в значительной степени был вызван игрой артистов театра Корша, в котором водевиль впервые ставился, Н. Н. Соловцова и Н. Д. Рыбчинской (первый спектакль — 28 октября 1888 г.). Об успехе водевиля Чехов писал: «Удалось мне написать глупый водевиль, который, благодаря тому, что он глуп, имеет удивительный успех. Васильев в «Моск. вед.» обругал, остальные же и публика — на седьмом небе. В театре сплошной хохот. Вот и пойми тут, чем угодить!» (2 ноября — М. Киселевой). И в другом письме к Н. Лейкину: «У меня с большим успехом идет у Корша шутка «Медведь». По всем видимостям этот медведь надолго прилипнет к репертуару, а в провинции и на любительских сценах его будут часто разделявать. Жаль, что у меня нет времени и охоты писать юмористику для сцены» (5 ноября). И позднее: «В Москве он идет с треском, пойдет и в провинции шибко. Вот не знаешь, где найдешь, где потеряешь» (А. Плещееву. 13 ноября).

Первые печатные отзывы о водевиле были отрицательные. С. Васильев («Театральная хроника». — «Московские ведомости», 1888, 2 ноября, № 302) отметил неправдоподобность шутки в том, что мужчина вызвал женщину на дуэль и та согласилась. И далее: «В пьесе три действующих лица: вдова, гость, лакей. Это нечто вроде французских proverbes [пьес, построенных на поговорке]; различие лишь в том, что те, при всей своей внешней простоте, обдуманы и обработаны до мельчайших подробностей, как настоящие «кабинетные» вещицы, между тем как Чехов допускает такую вопиющую невозможность, как вызов женщины на дуэль. Эта необдуманная подробность тем более бросается в глаза, что на ней построен перелом пьесы, перемена отношений между действующими лицами». — В отзыве «Русского дела» (А. М. «Новости театрального сезона». — 1888, 5 ноября, № 45) было подчеркнуто обилие бранных слов в водевиле. В чем же кроме этого заключается комизм «Медведя»?.. Мы все видим в Чехове крупный талант, но несомненно ложно направленный... «Медведь» — шутка, но не шуточными последствиями грозит она молодому писателю. Это опасный путь, Чехов!» Критиками отмечалось, что сюжет водевиля мог быть навеян переводной пьесой «Победителей не судят». Сходное построение диалога найдем также в современной водевилю переводной мелодраме «Укрощенный зверь» (изд. Е. Рассохиной, 1887 г.) в диалоге Мардоша и Терезы (д. IV, с. 87—89).

Предложение. Написано в ноябре 1888 г. и тогда же представлено в драматическую цензуру. Отлитографировано со стилистическими исправлениями в декабре 1888 г. Е. Рассохиной. Напечатано впервые в газете «Новое время», 1889, № 4732, 3 мая под инициалами: А. П.; также в журнале. «Артист», ноябрь. С изменениями включено Чеховым в сборник «Пьесы» 1897 г., и далее в Собрание сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. — Нами печатается текст 1901 г.

Написав водевиль, Чехов сообщил И. Щеглову (7 ноября): «Я нацарапал специально для провинции паршивенький водевильчик «Предложение» и послал его в цензуру». И далее: «Водевильчик пошловатенький и скучноватенький, но в провинции пойдет...» О «Предложении», как «пресловуто-глупой пьесе», Чехов писал И. Щеглову и позднее (11 мар.

та 1889). По воспоминаниям А. Лазарева-Грузинского («Русское слово», 1914, № 151) охотничьи наименования для водевиля взяты Чеховым из книги Е. Дрянского «Записки мелкотравчатого». М., 1887.

Трагик по неволе. (Из дачной жизни.) Написано в мае 1889 г. и тогда же представлено в драматическую цензуру. Отлитографировано в ноябре Е. Рассохиной и в том же году исправлено для 2-го изд. Впервые напечатано отдельным изданием театральной библиотекой В. Базарова, 1889 г., затем перепечатано в ж. «Артист», 1890, апрель, кн. 7. Включено Чеховым со стилистическими изменениями в сборник «Пьесы», 1897 г. и далее в Собрание сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. — Нами печатается текст 1901 г. — Пьеса является переделкой рассказа «Один из многих» 1887 г. 4 мая 1889 г. Чехов писал А. Суворину: «Вчера вечером вспомнил, что я обещал Варламову [= артисту] написать для него водевиль. Сегодня написал и уже послал». Позднее по поводу предстоящего выступления в этом водевиле в театре А. Суворина артиста Орленева Чехов писал А. Суворину: «Для моего водевиля «Трагик по неволе» Орленев еще молод, в нем нет солидности дачного мужа — и потому лучше отложить до будущего года» (16 декабря 1897).

Свадьба. Написано в ноябре 1889 г. и тогда же представлено в драматическую цензуру. Отлитографировано в апреле 1890 г. С. Рассохиным. Со стилистическими исправлениями и с пропуском некоторых реплик включено Чеховым в сборник пьес «Свадьба. Юбилей. Три сестры». Изд. А. Маркса 1902 г. и в Собрание сочинений 1903 г. т. XIV. — Нами печатается текст 1902 г.

В «Комнате 40-х годов» Публичной библиотеки СССР им. Ленина хранится автографная рукопись пьесы — цензурный экземпляр с разрешительной датой 2 ноября 1889 г. При отлитографировании пьесы Чеховым среди других пропусков отдельных реплик и стилистических изменений была опущена следующая сцена начального текста: [Ять... Малодушная психиатрия и больше ничего!] — *Мозговой (вставая).* Господа! Позвольте сказать вам следующее. За Анной Мартыновной есть недоимка! Когда мы играли в фанты, ей вышло, чтобы она поцеловалась с тем мужчиной, который больше всех брюнет. Самый брюнетистый из нас был Лапкин, но он сконфузился и ушел. Теперь Анна Мартыновна должна по настоящему выбрать другого брюнета и исполнить, что ей вышло... — *Все.* Да, да... Конечно, конечно! — *Змеюкина.* Какие пустяки! Оставьте. — *Мозговой.* Кто у нас чернее всех? — *Шафер.* Харлампий Спиридоныч! — *Все.* Да, да! Пожалуйста, Харлампий Спиридоныч! — *Змеюкина.* Не желаю я целоваться! *(Закрывает лицо салфеткой.)* — *Ять.* Не-нет-не-ет-с, Анна Мартыновна, не извольте уклоняться... Пожалуйста-с! — *Дымба (смущенно).* Зацем такое? Я ницего... — *Змеюкина.* Право, я даже не понимаю... Странно даже... *(В сторону.)* Он так красив! Какие глаза! — *Ять (потирая руки).* Не-ет, не-ет! Вы обязаны! *(Туш.)* — *Змеюкина.* Что ж? Если мне так по фантам вышло, то извольте, но... это даже экстравагантно... *(Целуется с Дымбой.) (Поцелуй продолжителен. Дымба, в которого впилась губами Змеюкина, пьтится назад и балансирует руками.)* — *Ять (встревоженно.)* Это очень длинно! Довольно! — Будет! — *Все (встревоженно).* Довольно! *Дымба (оторвавшись от Змеюкиной).* Уф! Зацем? Это которое... я не понимаю! — *Ять, Мозговой (вместе.)* Ей дурно! Воды! Дурно! — *Ять (давая Змеюкиной воду, в сторону).* Сейчас видно аристократку. *(Ей.)* Успокойтесь! Умоляю вас... Вот так... Она открыла глаза... *(В сторону.)* Совсем аристократка! — *Змеюкина (придя в себя).* Где я? В какой я атмосфере? Где он? *(Дымбе.)* Вы демон? Своим поцелуем вы сожгли меня! — *Дымба (смущенно).* Зацем? Я ницего...

Водевиль явился в результате переделки Чеховым рассказа «Свадьба с генералом» (1887 г.) со включением некоторых мотивов из рассказов «Свадебный сезон» (1881 г.) и «Брак по расчету» (1884 г.). Употребленные в водевиле морские термины Чехов, по воспоминаниям А. Лазарева-Грузинского

(«Русское слово», 1914, № 151), заимствовал из старинного словаря (видимо, из книги Н. Яновского, «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту...» Спб., 1803—1806 гг.).

Юбилей. Написан Чеховым в декабре 1891 г. и тогда же представлен в драматическую цензуру. Отлитографирован в феврале 1892 г. С. Рассохиным (Москва). Со стилистическими исправлениями, с пропуском ряда реплик и немногих сцен включен Чеховым в сборник пьес «Свадьба. Юбилей. Три сестры». Изд. А. Маркса 1902 г. и в Собрание сочинений 1903 г. т. XIV. — Нами печатается текст 1902 г.

В первоначальном виде водевиль имел еще дополнительную финальную сцену: *К и с т у н о в, Х и р и н и Т а т ь я н а А л е к с е е в н а. — Т а т ь я н а А л е к с е е в н а (лежит на диване и стонет). — Х и р и н (после продолжительной паузы). Что я вам говорил? Что я вам говорил? Пришли, напортили, наскандалили, и одна получила 25 целковых и ушла, а другая мамочка вот... (Указывает на Татьяну Алексеевну.) Отличились! Говорил я вам, тысячу раз, что их нельзя подпускать к себе на пушечный выстрел! — К и с т у н о в. Депутация... репутация... Старуха, жена, валенки... Кто-то застрелился... Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой... (Протирая глаза). Две недели сочинял для акционеров этот адрес, купил на собственный счет серебряный жбан, заплатил своих собственных 75 рублей за переплет для адреса, пять суток стоял перед зеркалом и приготавливал пару — и что же? Все пропало! Все! Осрамились! Погибли! Пропала репутация! — Х и р и н. А кто виноват? Вы! Вы! Вы все дело испортили! — К и с т у н о в. Замолчите! Виноваты вы, а не я! — Х и р и н. Вы! Вы! — К и с т у н о в. Нет вы! Если бы не ваши подлые валенки и не ваш проклятый невыносимый характер, то ничего бы не случилось! Зачем вы погнались за женой? Зачем вы кричали на нее? Как вы смели? — Х и р и н. А если бы вы не были кокетом, да поменьше пыль в глаза пускали... Но чорт бы меня драл, я не желаю больше служить! Пожалуйте мне золотой жетон и триста наградных! Пожалуйте! — К и с т у н о в. Ничего не получишь, старый хрыч! Кукиш с маслом! — Х и р и н. Да?... Так вот же твоему докладу! (Рвет доклад.) На! Вот! Я тебя на чистую воду выведу! погоди! — К и с т у н о в (кричит). Убирайтесь вон! (Звонит.) Эй! уберите его отсюда! — Х и р и н (топочет ногами). Прочь с глаз! Я сейчас преступление совершу! Я за себя не ручаюсь! Прочь! — К и с т у н о в. Вон! (С криками «Прочь! Вон!» гоняются друг за другом. Шум. Вбегают служащие.) —* Водевиль *явился* в результате переделки Чеховым рассказа «Беззащитное существо» 1887 г.

О вреде табака. Написан в первоначальном виде в феврале 1886 г., тогда же напечатан в «Петербургской газете», 1886, 17 февраля и представлен в драматическую цензуру. Со стилистическими исправлениями отлитографирован в издании театральной библиотеки С. Напойкина, 1887 г.; изд. 2-е, исправленное — 1889 г. Снова отлитографирован Е. Рассохиной в мае 1889 г. (с обозначением: изд. 2-е, исправленное). В резко измененном виде включено Чеховым в Собрание сочинений 1903 г. т. XIV, откуда нами и печатается.

Написав водевиль, Чехов сообщил В. Билибину: «Сейчас я только что кончил сцену-монолог «О вреде табака», который предназначался в тайнике души моей для комика Градова-Соколова [= артиста театра Корша в Москве]. Имея в своем распоряжении только 2½ часа, я испортил этот монолог и... послал его не к чорту, а в «Петербургскую газету». Намерения были благие, а исполнение вышло плохиссимое...» (14 февраля). Водевиль в этом первоначальном виде выполнен в стиле фарса, в котором все внимание отдано комической трактовке героя и комическому сближению и срыву тем в его речи. В 1902 г. (сентябрь) Чехов переделал водевиль, сняв его первоначальный фарсовый тон и насытив речь психологическим содержанием: чрез комический речевой ряд мы чувствуем персонаж далеко не комический, но в сумме своих переживаний даже «трагический». Персонаж водевиля, отбрасывая бытовые темы речи, говорит о своих интимных переживаниях, на-

прыгая их до высокого драматизма. Переделка водевиля, осуществленная Чеховым шестнадцать лет спустя после написания его и падающая на время, предшествующее написанию пьесы «Вишневый сад», чрезвычайно для творческих путей Чехова. Видимо, перерабатывая старый водевиль, Чехов искал то, новое в его драматическом творчестве этих лет, сочетание комических и драматических элементов, которое он потом в большом плане осуществил в «Вишневом саде».

Иванов. Пьеса явилась в результате многократных изменений первоначального текста, написанного в сентябре — октябре 1887 г. В первоначальном своем виде пьеса была поставлена на первом спектакле в театре Корша в Москве 19 ноября 1887 г. (причем при просмотре цензором первоначального текста пьесы были исключены некоторые слова). С некоторыми композиционными изменениями пьеса проходила на следующих спектаклях того же театра. Текст пьесы перерабатывался (осенью 1888 г.) стилистически и отчасти композиционно для предпоследней постановки в Петербурге. При этой переделке финал IV акта получил новый вид: последний акт трактован резко драматически. Снова пьеса была переработана стилистически, отчасти сюжетно и композиционно в первой половине января 1889 г. для первого спектакля пьесы в Александринском театре в Петербурге 31 января 1889 г. Еще раз текст пьесы был значительно исправлен в феврале 1889 г. Пьеса в последнем виде впервые была напечатана в ж. «Северный вестник», 1889 г., март; включена Чеховым в сборник «Пьесы», 1897 г. и в Собрание сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. При перепечатках пьесы текст ее подвергался частичным авторским исправлениям и изменениям. — Нами печатается текст 1901 г.

Писанию пьесы Чехов придавал большое значение. В письме к А. Суворину он так определял основную тему пьесы: «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим Ивановым положить предел этим писаниям. Мне казалось, что всеми русскими беллетристами и драматургами чувствовалась потребность рисовать унылого человека и что все они писали инстинктивно, не имея определенных образов и взгляда на дело» (7 января 1889 г.). И далее в своем обширном письме-комментарии к пьесе Чехов раскрывал образ этого «унылого человека», «героя» своей пьесы, в его характере и действиях, с его влечениями и размышлениями, типичного русского интеллигента в специфических условиях русской жизни 80-х годов. В многократных переделках своей пьесы (преимущественно ее конца) Чехов стремился отчетливее и рельефнее выдвинуть эти основные темы пьесы и судьбу ее главного героя. Помимо этой темы — вскрыть социальное значение характера унылого человека 80-х годов — Чехова при писании пьесы увлекла попытка осуществить ее в новом сценическом плане средствами и приемами обновляемой драмы.

Пьеса на первых своих спектаклях в театре Корша вызвала разнообразные и противоположные отзывы: одни приветствовали и восхваляли пьесу, другие бранили. В дальнейшем Чехов занялся радикальной переработкой пьесы, и, будучи поставленной в Петербурге, она имела исключительный успех, восторженно была принята публикой и вызвала обширный ряд рецензий, преимущественно приветствующих автора с удачным опытом. Критики отмечали в пьесе новые приемы автора представить значительными и драматическими явления обыденной жизни, мастерское отражение действительности и «жизненной правды», тонкость психологического анализа, богатство характеров и бытовых подробностей. Наряду с этим критики подчеркивали живой диалог, реалистическое письмо и преобладание внимания к частностям быта и психологии. Ценилась объективность автора, чуждого какой бы то ни было тенденциозности. Высоко оценивалось общественное значение пьесы и выведенного в нем главного персонажа. В плане драматургическом и сценическом критики выделяли: своеобразный сюжет, оригинальное развитие пьесы, вытекающие из хода действия и чуждые театральной рутине эффекты, простоту компановки, игнорирование банальными сценическими положениями.

Чайка. Писалась с конца 1895 г. и в течение 1896 г. В августе 1896 г. была послана в драматическую цензуру. Была поставлена впервые на сцене Александринского театра в Петербурге 17 ноября 1896 г. С изменениями (пропуск немногих сцен, реплик, стилистические исправления) напечатана в ж. «Русская мысль», 1896, декабрь. С новыми исправлениями включена Чеховым в сборник «Пьесы» 1897 г.; перепечатана им в Собрании сочинений 1901 г. т. VII и 1903 г. т. XIII. — Нами печатается текст 1901 г.

Первоначальный текст пьесы, посланный в драматическую цензуру, подвергся тщательному цензурному просмотру. Цензором были отмечены в пьесе те места, которые затем были переработаны Чеховым; это — места в д. I и III, касающиеся характеристики взаимоотношений Аркадиной и Тригорина. Об этих цензурных исправлениях пьесы Е. Карпов — режиссер Александринского театра — писал А. Суворину: «Вчера... узнал о запрещении цензурой пьесы Чехова «Чайка» и тотчас же отправился к Литвинову [=начальник Гл. упр. по делам печати]. Он говорит, что и не думал запрещать пьесу, а хотел бы только, чтобы Чехов несколько «гасировал» (его подлинное выражение) отношения сына к матери по поводу ее сожителства с беллетристом. Для этого, по мнению Литвинова, надо в двух-трех местах сгладить «слишком явные признания сына о незаконном сожителстве его матери...» И далее: «Те «подозрительные места», которые прочел мне Литвинов, показались мне невинней грудного младенца» (14 июня).

При переработке первоначального текста пьесы среди других текстовых изменений выпали следующие эпизоды:

Действие II. [Аркадина. Мопассан «На воде», милочка.] Медведенко. Никогда не читал. — Дорн. Вы читаете только то, чего не понимаете. — Медведенко. Какие есть книги, такие и читаю. — Дорн. Все читаете Бокля да Спенсера, а знаний у вас не больше, чем у сторожа. По вашему сердцу сделано из хряща, земля на китах. — Медведенко. Земля круглая. — Дорн. Отчего же вы говорите это так неуверенно? — Медведенко (обидевшись). Когда есть нечего, то все равно, круглая земля или четырехугольная. Не приставайте, пожалуйста. — Аркадина (с досадой). Перестаньте, господа.

[Между словами Дорна... «это, извините, легкомыслие»: — «Пустое:» Дорн. Пора о вечном подумать. (Мимо дома проходит Треплев с непокрытой головой, в одной руке у него ружье, в другой убитая чайка.) — Аркадина (сыну). Костя, иди к нам! — Треплев (оглядывается и уходит). — Дорн. (напевая). «Расскажите вы ей, цветы мои...» — Нина. Вы детонируете, доктор. — Дорн. Это все равно. (Сорину.) Так-то, ваше превосходительство. Пора о вечном подумать. (Пауза.)

«Чайка» была первой пьесой, написанной Чеховым после длительного (в семь лет) перерыва в писании пьес, перерыва, вызванного крушением его новаторских приемов в пьесе «Леший» (см. примечание к пьесе «Дядя Ваня».) В работе над пьесой Чехов поставил задачи дать опыт сложной психологической драмы на бытовом фоне с широко и оригинально обновляемыми словесными и сценическими приемами. Это обновление приемов драматического искусства касалось как способов подачи «жизни» на сцене, сценического выражения жизненного быта, так и способов выражения психического содержания выведенных в пьесе лиц. К числу новых приемов в пьесе нужно отнести преобладающий лирический характер речевых высказываний персонажей и наличие большого числа пауз, замедляющих действие в пьесе и содействующих выражению «настроения» ее лиц. Пьеса с этими новыми и оригинальными приемами своего письма была поставлена на сцене Александринского театра, в репертуаре которого до этого времени были исключительно пьесы, построенные на старой драматической основе. Помимо этого театр не располагал режиссером, который нашел бы правильные формы сценического выражения новому психологическому и бытовому материалу, заложенному в пьесе. В результате этих причин пьеса провалилась на первом своем спектакле и вызвала обширный ряд отзывов, отрицательно оценивающих спектакль и новаторские тенденции Чехова, высказанные в пьесе. В рецензии А. Кугеля (Номо поуис. — «Петербургская газета», 1896, 18 октября) было

отмечено, что «Чайка» произвела «удручающее впечатление», что она не пьеса и не «комедия», что она «болезненная», так как во всех действующих лицах пьесы «чувствуется какая-то декадентская усталость жизни». — И. Ясинский («Биржевые ведомости», 1896, 18 октября) считал, что общее впечатление от спектакля было «сумбурное и дикое» и что пьеса — не «Чайка», а «просто дичь». — О «Чайке», как о пьесе «совершенно нелепой» со всех точек зрения—идейной, литературной и сценической—писал рецензент «Новостей» (1896, № 288 и 289). — «Петербургский листок» (1896, 19 октября) оценил «Чайку» следующими словами: «Это очень плохо задуманная, неумело скомпанованная пьеса, с крайне странным содержанием или, вернее, без всякого содержания. От каждого действия веяло отчаянной скукой, фальшью, незнанием жизни и людей. Это — какой-то сумбур в плохой «драматической форме». — Лишь А. Суворин в «Новом времени» (1896, 19 октября) выступил на защиту пьесы: «Написать такую оригинальную, такую правдивую вещь, рассыпать в ней столько наблюдений, столько горькой жизненной правды может только истинный драматический талант». И причину провала спектакля А. Суворин видел в том, что «пьеса плохо и наскоро срепетована, что роли были нетвердо выучены, что исполнители далеко не были на надлежащей высоте, что роли были распределены не совсем удачно, что в *mise en scène*х были ошибки». На следующих спектаклях в том же театре пьеса шла с некоторыми изменениями текста и с поправками в режиссерском толковании пьесы, причем пьеса имела уже успех у внимательного зрителя. Артистка В. Комиссаржевская — исполнительница Нины Заречной — писала Чехову после второго спектакля пьесы: «Сейчас вернулась из театра. Антон Павлович, голубчик, наша взяла! Успех полный, единодушный, какой должен был быть и мог не быть! Как мне хочется сейчас вас видеть, а еще больше хочется, чтобы вы были здесь, слышали этот единодушный крик: «автора»! Ваша, нет, наша «Чайка», потому что я срослась с ней душой на век, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит» (21 октября). — А. Кони писал Чехову после 5-го спектакля пьесы: «Чайка» — произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими слезами, красноречивым бездушием и молчаливыми страданиями, — жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней, жестокой иронии, — жизнь до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен там принять участие в происходящей перед тобой беседе... [И далее о конце пьесы]: И то, что пьеса прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее — тусклое, вялое и неопределенное — мне очень нравится. Так кончаются, или, лучше сказать, так обрываются э п и ч е с к и е произведения» (7 ноября). — А. Сумбатов, видевший пьесу на 4-м спектакле, высказался, что в таком невероятном исполнении, в таком непонимании лиц и настроений — пьеса не могла иметь успеха» (11 ноября).

Пьеса была возобновлена лишь два года спустя в постановках нового Художественно-общедоступного театра в Москве (ныне Моск. худож. театр), нашедшего в режиссуре К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и в молодом коллективе артистов те тонкие средства игры и показа спектакля, которые выявили достоинства пьесы и создали убедительные для зрителя сценические образы. Свежие дарования театра, избавленные от рутины, умение показать скрытые драмы и трагедии в каждом лице пьесы, исключительно добросовестная и не банальная постановка создали исключительный успех спектаклям пьесы в этом театре и вызвали восторженные оценки пьесы в письмах друзей к Чехову и в многочисленных газетных отзывах. Успех пьесы в Художественном театре дал уверенность Чехову в правоте его новаторских исканий и толкнул его на писание им других пьес для этого театра, ставшего блестящим сценическим толкователем образов Чехова.

СОДЕРЖАНИЕ IX ТОМА

	Стр.
Ю. С о б о л е в. А. П. Чехов-драматург	3
Мужики	23
Крыжовник	35
О любви	63
Ионыч	70
Случай из практики	83
Новая дача	91
По делам службы	111
Дама с собачкой	122
На святках	131
В овраге	138
Архиерей	165
Невеста	178

П ь е с ы:

На большой дороге. (Драматический этюд в одном дейст.	193
Лебединая песня. (Драматический этюд в одном действии.)	209
Медведь. (Шутка в одном действии.)	215
Предложение. (Шутка в одном действии.)	226
Трагик по неволе. (Шутка в одном действии.)	237
Свадьба. (Сцена в одном действии.)	241
Юбилей. (Шутка в одном действии.)	251
О вреде табака. (Сцена-монолог в одном действии.)	262
Иванов. (Драма в четырех действиях.)	266
Чайка. (Комедия в четырех действиях.)	316
Примечания и комментарии	356

41628

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugraic.ru/>

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.uraic.ru/>

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.ugraic.ru/>

СОУНБ им. В. Г. Белинского
<http://book.uraic.ru/>